

18+

Еврейская Старина
3/2019

Евгений Михайлович Беркович

Еврейская старина. №3/2019

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55346461

ISBN 9785449888204

Аннотация

«Еврейская Старина» – научно-исторический журнал (трехмесячник) Еврейского историко-этнографического общества. Издавался в Петербурге в 1909—1930 годах. Возобновлен в качестве альманаха в 2002 году. Девиз: «Старина – категория не времени, а качества: все станет когда-нибудь стариной, если не умрет раньше».

Содержание

Альманах	5
Ганс Гюнтер Адлер	6
Стихи из концлагеря. 1942—1945	6
Абрам Торпусман	75
Вокруг «киевского письма»	75
Мария Соловейчик	136
Семья как зеркало эпохи	136
Любовь Гиль	211
200-летняя история моих предков и породнившихся с ними семей (документы, письма, воспоминания родных)	211
Конец ознакомительного фрагмента.	214

Еврейская старина

№3/2019

Редактор Евгений Михайлович Беркович

ISBN 978-5-4498-8820-4 (т. 3)

ISBN 978-5-4498-8613-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Альманах
«Еврейская Старина»
№3 (102) 2019

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас

«Старина — категория не времени, а качества: всё когда-нибудь станет стариной, если не умрет раньше»

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Еврейская Старина
Ганновер 2019

Ганс Гюнтер Адлер

Стихи из концлагеря. 1942—1945 Переложение – Виктор Каган

(окончание. Начало в №4/2018 и сл.)

человек и его день

помилуй мя

ответь

я правда так плох

и мне больше нельзя доверять себе

потому что

душа моя сгорает в пламени стыда

и мрачная тень

пронизывает её свинцовым туманом ужаса

потому что

больше нет сил

страдания неуголимы

и даже в отчаяньи прилежный

беспомощно стенаю под ярмом мира

сбитый с пути ненавистью

ответь

будь милостив

прости

я боюсь
я не хочу обидеть
ничуть не хочу
будь милосерден к моему стремлению
пойми меня и не суди слишком строго
ты ведь можешь
разгляди во мне ребёнка
с душой мечтателя
липкие взгляды
кипя восторгом пьяного уничтожения
бросают меня из огня да в полымя
и отчаянье запутывает в свои сети
я должен утолить
жажду отыскать себя
пусть даже ценой смерти
по выпавшему мне приговору судьбы
я не боюсь
будь твёрд и ты
мы искупим проказу немощи
нашей жертвой
сами шагнём в петлю врага
в безмолвном отреченьи
мы посвятим нашу жертву Богу
и Он не покинет нас
нет
никого Он не оставит в отчаяньи
воспоминание
что память рассказала обо мне
совсем немного

что говорит во мне
что за тайна горит в душе
что за неведомое мне
взыскует смысла
тайны моих поступков
кто я
приготовишка в школе жизни
что за дух
творит всё то
что придаёт мне сил и веры
в петляющей распутице пути
дивлюсь и знаю
что его забота
смягчит мои бесщётные паденья
его доброе послание
поднимет душу
из пожара разрушения
пока запутанный игрою
перемен и искушений
хоть малость я могу понимать
теперь я уверенно рисую
по пёстрой канве
и собираюсь с силами
и благодарю за то
что просьба моя исполнена
и это хранит меня
питая мою решимость

самоотречение

уйти бы от себя

достаточно я пробовал себя на вкус

и исследовал вдоль и поперёк

я проржавел в своём романе с самим собой

и хочу исцелиться от себя

чтобы и в будущем не знать себя

и без крова очага и порога

отречься от себя

никогда больше не называться своим именем

предать огню

жалкий скарб моей клетки

пусть бы я исчез

странствовать по миру

и пусть все кто захочет

моими венками украшали бы себя

и подбирали рассыпанные сокровища

в когда-то лелеемом саду

мне больше ни к чему ни цветы ни плоды

нет уже ничего

что стоило бы беречь

уже никогда не вдохнуть медовый аромат

я повесил замок на мои глаза

и хочу

изгнать себя из себя

отстранение

мне не пройти дорогами чужими

я им никто и звать меня никак

я ухожу от самого себя
из всех когда-то милых закоулков
оставив там труды и суету
мне собственной дороги не постичь
и не понять открывшегося взору
невольнику измученному напрочь
мне всё едино
ведь я всё покину
и если время дорисует свои круги
восстанет утро или день угаснет
меня хвалой иль бранью награждая
и все мои труды развеет ветер
судьба тогда пожнёт мой урожай
мне всё едино
я себя покинул

между

всегда между
всегда между
прошёл через все круги и чудеса
родина так далека
но близ родника
что душа ещё не потеряла
скоро она заплутает во мхах
скоро её разорвёт терновник
всегда между всегда между
всегда между
всегда между
между отчаяньем и пылкими просьбами

человек истово ищет
спасительный приют
и наконец
истощённый призраками блаженства
забывает о чём спорил
всегда между всегда между
всегда между
всегда между
спящая смерть ворвётся в жизнь
стакан и кувшин
расколются вдребезги
горе и радость
выбьет из рук одним ударом
никто не знает
что станет с нами завтра
всегда между всегда между

примирение

тебе мой плач Господь
я не ропщу
но не хочу к Тебе
Ты зло мутишь страхом
мелеющее озеро моего сердца
Тебе не разглядеть свет
в бесновании ночи
воля Твоя побеждает
даже мир изживает своё увечье
пред волей Твоей
и поскольку Ты далёк
от наших гниющих кишок

бросает на орла и решку
вины и долгого духа
временного угнетения
что творится в мире
что взбужает чёрными толпами
немеющими перед ужасами
разгулявшегося безумия
ты ли Господи
вершишь всей этой свистопляской
что уже долгие годы
насмехается над Твоим достоинством
шатаясь вызывает к Тебе и машет флажком бедняга
из последних сил славящий Тебя перед толпой калек
чахнет бедный мечтатель
сомневающийся в Твоём богатстве
от которого ему не досталось ни крохи
и он должен беречь собственное
взываю к тебе Господи
Ты принимаешь добытое бедностью
и не ждёшь в нетерпении моих просьб
равнодушие моё узнаёт Тебя
в радость ли оно Тебе
не моя забота
хватит
я в ссоре с Тобой
что однажды случится
что будет
терпеливо ожидаемой от Тебя вечной долей
это тайна тайн

кто знает
поможет ли это раскаянью
я выстрадал это в страхе и ужасе
я терплю Тебя
обессиленный падаю наземь
не хочу
не могу
выносить Тебя больше
я преисполнен Тобой
я люблю Тебя
с губ моих
дни напролёт несётся
Тебя молящая лесь
эта игра ускользает от меня
в сумасшедшем падении
это не я мой Бог
не мои стенания оглушают Тебя
я хочу
словно малая искорка
угаснуть в Тебе
и набраться смелости
попрощаться

упорство

1

я о себе
поскольку дни влачу
в круговороте быстротечной бренности
стремясь отправиться по тёмному пути

ведущему скорей всего к концу
в страдании ничто меня не мінет
и каюсь
желаю я опасности себе
пусть ранами затравлен я умру
желаю смерти скроенной по мне
желаю
от желаний я свободен
кто скажет мне зачем
судьба меня хранила
сама того не ведая зачем
чего теперь хочу я
я не желаю больше ничего
и если что-то в дверь мою скребётся
то это только прочность духа
ни прошлого ни будущего нет
лишь настоящее
в своём несчастном бегстве
по замкнутому кругу от себя

2

я сам себя взял у себя займы
и сам себе принёс себя я в жертву
потоки времени срывают гниль рубцов
теперь я нищ
и ничего б не знать
теперь бы только ждать сквозь времена
как поступь времени легка и тяжела
объезженный неумолимым миром

я и без времени покорно обойдусь
я просто жду
через меня текут
бурля кипя сводя меня с ума
терзая совесть
чужие мне желанье и страданье
кто я
как странно ластится
изношенное платье
и клонит в сон
и дух уносится в неведомую даль
и маленькие дүхи несут меня как знак
отсюда где меня уже хватились и ищут
спор напрасен
в напрасности
где пропаду бесследно

отречение

довольно обо мне
я вырван из себя
я зеркало
наплывы туч мутят его картину
и мир во мне дробится в прах
под натиском неведомого знанья
во мне теряются
в меня впадающие лица
слабея гаснут в огненном паденьи
под грохот гневных приговоров Бога
отрывистых и резких как проклятья
где я

где ты мой брат
ты держишься ль ещё
захочешь ли услышать
свой берег потерявшего
ведёт ли твоё весло
к далёкому мосту твой чёлн
стремишься ли с дыханьем свежим стран
покоя полных
соединить своё дыхание
и до рассвета
вернуть всё то что ночи заложил
не слушай меня ты кого зову
не слушай
ты меня ведь знаешь
и знаешь что я не в себе являюсь
а в тебе прозрачным отраженьем предстаю
чтоб на зубок попробовать
свой разум
довольно обо мне
играет случай
на клавишах моих предчувствий тёмных
я этим жертвую
всё отдаю
и расстаюсь со счастьем
довольно обо мне
безмолвно ты восходишь
из моей тени в свет
что я утратил
победит в тебе

ты стремишься
я же отрекаюсь
дай мне опору
дай мне опору для обычных дел
дай сил для них
стремленьем напои
ночь вскачь несётся
ветер подгоняет
дай
но Ты всё медлишь
не отпусти прошу и не оставь
Ты не из тех кто осудил меня
но почему мне травы дарят яд
и всё передо мной закрыто
что Ты мне разрешил
но что же мне позволено
что пёстрый хлам затрёпанных сует
зачем он мне
лишающий рассудка
пустеет взор
в нём больше нет чудес
пропавших в незапамятстве времён
луга взорвались торжеством цветенья
и радостным обилием плодов
теперь у ног шуршит
усохшего ростка пустой запал
и голову роняю я на грудь
дай мне
но что же я хочу

от гнева моего вино прокисло
и пересохло в нём дыхание солнца
где берег чтобы плыть к нему
надо мной глумятся
тяжёлой стаей призраки побега
гоню их прочь
мой путь лежит к вершинам
но пытка призраков не обойдёт меня
и я срываю голос
ору в пустые голые миры
и голос исчезает в никуда
и одиночество моё смертельно нёмо
и жизнь сквозь обжигающую рану
ворочает свой нож во мне
и ужас оглушает
как моё мясо встретит
послание о гибели
или так больно с губ слетает радость
моя душа сгоревшая дотла
пуста на вкус
дай мне опору для обычных дел
лишь Ты один умеешь это сделать
поверь в меня
придай мне новых сил
чтоб нападения ночи захлебнулись
дай не колеблясь
допусти к себе
Ты мой судья
так не суди же строго

освободи от искушения желаний
прошу
уж не отверг ли Ты меня
немая тишина молчит об этом

прощание приговорённого

лес поле и цветы
прощайте
я покидаю этот мир
вспыхивает буря
рыдает небо
стрела остра
и тетива звенит
ослабился из тьмы мой старый враг
земля дрожит
и крыша облаков
трещит в потоках лавы
в тоске неутолимой камня
душа и плоть
сгорая леденеют
бездушно ночь насилует меня
ни выхода
ни входа
ни укрытья
и когти похоти окоченевшей тьмы
меня оцепеневшего терзают
и вот-вот
моё убогое земное бытие
с лица земного будет смертью стёрто

желанье и любовь
уходят из меня
чёрная пантера
терзает мою немощь
охотничий мой рог не держат руки
мой посох иссыхает и крошится
грохот града
моё гнездо жестоко сотрясает
ангел смерти
спешит меня прикончить
костям готовит леденящий праздник
толкает в мою раннюю могилу

сеятель

меч рубит меня на части
но я остаюсь
исполосованный страхом
творящегося вокруг
в мерцании блуждающих звёзд
возникают сумбурные образы
и тысячи тысяч зверей
с воем волокут меня за собой
закутанные в складки тьмы
зову охранника
скажи
ты хочешь посадить меня на кол
так умри первым или сломай меня
в сопротивлении твоему ночному насилию
вокруг

иссохшие дряблые
истерзанные горем
с выцветшими от страха глазами
мои братья
они неуклюже и боязливо препираются
заглушая тёмное предчувствие смерти
ворочающиеся в страдании
потерянные существа
протискиваются между сном и явью
сбитые с толку
мертвенно бледные
они иногда ловят какое-то слово
чтобы послать его мольбой
в сумрак
всё спасается бегством
я в страшливом одиночестве
шлю вдаль всю страсть моих желаний
хороню сам себя
и спрашиваю
что у меня есть кроме муки
я убиваю себя
так я готовлюсь
к жизни по ту сторону
всей этой гнилой мнимости
в зерне жизни после смерти
набухает росток нового бытия
таинственно пробуждённый
к новой борьбе

без родины

так убога и жалка
рухнувшая жизнь скитальца
что не можешь её не беречь
в тесноте крошечных клетушек
живёт не знающая покоя тоска
всё так скудно
так постыдно привычно
так вжимает в землю
так не умеет летать
хотя и хотело бы
но ничто не окупится
утешительной сказкой о вознесении души
как знать
какой дом тебе родной
где найдётся приют диким мыслям
и кротость в утешение тому
кто в страхе должен начать свою работу
избежит ли благодать духа соблазна
чтобы изнурённый мишурой дух
в глубине своей искупил
хаос сладострастия
чтобы суметь завоевать миры и дали
разбитая мечта в плену у распада
её смертельный восторг
истекает кровью в молитве
израненная в клочья
она без сил припадает к стопам
несёт во льду горячие желанья

что может быть тяжелее этой скорби
тому кто в надежде ждёт помощи
дай мужества
украсить свою смерть

молчащий

речь морочит голодную душу
страх играет на хрупкой дуде
засыпай у меня на коленях
позабытую радость даря
как давно я привык к лёгкой мýке
как владеет мной нежно тоска
тени болью творимых пристрастий
затыкают мой набожный рот
вычерняют доносчика руку
и молитвы рождают в уме
и смирялись молитвы с безумьем
что я сам на себя призывал
потому что без жалости брошен
в землю голую дикий мой плач
исступлённо в ночи бормотал
и позволил покойников своре
жизнь мою до конца захватить
а вокруг страхолюдная похоть
пухнет сломленно зло и темно
пристаёт с безответным вопросом
это ты этот ад сотворил
кто в голоде
безумье убирайся

дорога станет тихой и чужой
о страх
здесь нет приюта
и взгляду не развлечь
молчанья дьявольского
в водопаде слёз
есть ли пределы этому
докуда расширится
дурное царство мук
что ещё способно
мир от паденья в бездну уберечь
кто незнакомцу на пути поможет
которому конечное так кратко
когда он немо речью освящён

утешительная песнь приверженца культа камы¹[1]

деревня на холме в глубоком мире
очерченность вершин свободных от потока
покой
привнёс ли я в него хоть маленькую малость
возможно ль избежать в земле того
что на земле так мучит
подаст ли знак
грядущее блаженство
терпи казак и будешь атаманом
деревня на холме в глубоком мире
не знаю здесь ли я умру

¹ Кама (санскрит) – чувственное удовлетворение, наслаждения, вождление, страсть.

стою ли пред желанной переменной
до вожделенной цели добреду ли
то бьёт меня озноб
то я в горячке
то день
то ночь
довольно мне
довольно
убьёт меня
или войду в игру
не знаю здесь ли я умру
страх смерти истощает моё сердце
в нём му́ка госпожа
и жизнь моя лишь капля жизни общей
в ней всё находит и себя и место
великие труды
скукоживаются в малость
но как раз она
спасает и отмывает дочиста до хруста
измученное страхом смерти сердце

с землёю связан

вот так навечно ты с землёю связан
пришло во сне и наяву осталось
глаза поднял я
и они сказали
в сомнении струилось озаренье
вот так навечно ты с землёю связан
в раздумья погрузился я

и мысли полнились глубокою заботой
свободен ли я от силков желаний
и ночь ушла
и прошептало утро
вот так навечно ты с землёю связан
душа в пространстве
с болью расплылась
никто не сосчитает
её частей
в лачугах во дворцах ли
не у земли отбитых
у спасенья
вот так навечно ты с землёю связан
а окажусь в земле по злобе мира
любим я буду немо без вопросов
никто не будет
до мозга костей
въедаться
утешая иль пугая
вот так навечно ты с землёю связан
теперь я знаю присягнуть могу
мне грешнику слепому
что без вины виновен
пусть доведётся вечность примерять
пока не стану провозвестником земли
ведь я навечно здесь с землёю связан

песнь прошения

верни мне меня самого

ты похитил
корыстолюбивый нетерпимый дух
и с яростной похотью морочишь меня
так что моя нужда
задыхаясь в мучительной жажде
горит перед тобой ярким пламенем
дай мне меня самого
в эти горячие дни
во славу твою
и твоё величие
дай мне
проникнуться тобой
в потёмках заплутавшей жизни
дай мне смирение
чтобы пробуждённое тобой
моё стремление
праведно возродилось к жизни
во славу твою
и твоё величие
ты
наказывающий и милосердно любящий меня
дичающего в блаженно укрощаемом страхе
моя истовая мольба о твоей близости
страстно всматривается в даль
дух милосердный и примиряющий
дай мне тебя самого

тебе обещанное

тебе по нраву блеск

высекаемый из неукротимого желания
творить блеск и свет
тебе по нраву и дано тебе
и сердце глубоко хранит
картину счастья
но я её не вижу
не вижу
блеск
яркий блеск
в волнах тепла
наполняет пространство
светом и желаньем
как счастливо
открывается взору вселенная
и расцветает
сотворённая
из старого сна
из старого сна
в богатом этом сорном мире
молодецки светясь
побеждает собственность
и всё обещанное
смотрит на нас из древности
в своём несокрушимом блеске
это незыблемо
блеск
яркий блеск
зачатый изобилием и малостью
того что между тобой и мной

это незыблемо
мы
склонённые друг к другу
обещанные друг другу
связанные во вселенной
и здесь

в жертву чужому замыслу
что будет с отнятым
а что осталось
предмет с опорой и ручкой
нет не это нет
слово
призыв
память
всё разлетелось
чего же стбят
мать
отец
незнакомое бытие
всё неизвестность
никак ты плачешь
никак ты хотел бы
любить
и даже в смерти быть живым
жить конечно жить
то собирая
то теряя
носить своё живое тело и платье

что тысяче смертей не разорвать
и вечности оставить
гордый памятник себе
что тебя прославит в песнях
и в потаённой тишине молитвы
что впереди
улады чуть
но всё-таки улада
и главное
не раздувать огонь пожара угасанья
последнего прощанья
нет
устоять и выстоять
в мученьях затхлой бездны
молельня стоп своих
ты обращён в себя
держаться
не бежать
всё выдержать
и жизнь дальше ткать
в тумане неизвестности
ведущей в вечное иное
что никогда не станет явью
где не дано понять нам яви
обратной стороны
и кто отважится
где миру не было начала
уверенность хранить
и не сломаться

отважится ли кто
и если да
то кто
готов ли ты питаться кровью ада
набравшись смелости
лишиться родины
исчезнут почва и корни
и там где будешь ты
не будет ничего
всё канет в прошлое
угаснешь ты
и нечего надеяться на чудо
всё станет незачем
принесенное в жертву
чужому замыслу

самоизучение

всеведущ
всемогущ
скажи
Ты мог бы обезболить пытку
вот я перед Тобой
стёрт в порошок неодолимой мукой
и брошен в гроб
мой малый труд дневной
рассыпался под леденящим взглядом
явись мои враги
уж лучше бы они
меня до смерти опоили

или
забылся бы я сном
под одеялом струпчатой коросты
убежать бы
но нет я не могу
телу не одолеть побега
в глазах лишь ночь чернеет
и в черноте черна моя дорога
горе мне
где начало моё
горе мне
ничтожно моё знание
и предстоит узнать ещё так много
забытый я стою
мерцая наготой сквозь нищие лохмотья
приговором рока
несёт меня в терновник
мне чуждого
что значу я для мира
достоинства лишённый злою волей
что для мира значу
всё стало отвращеньем
окостенело сердце
истрёпана душа
сможет ли бормотанье моё
петь молитву сквозь косноязычье
но шуршит шевеление губ
подчиняясь Тебе
вездесущий

забота

прочь тревога
сковывающая попытки дерзнуть
мгновенье за мгновеньем гаснет
и падает пред ледяным проклятьем
гнилая пена
омывает сердце смертельной вонью
последний взгляд
томясь по утешенью
рыбачит робко
в сонной роще грёз
чего не совершишь в мечтах
но всё напрасно
то что надежд и ожиданий путь
хранит как тайну тайную
лишь тень
что опалит однажды
пыланьем зрелости плодов
так хочется
и только память гнетёт
и гонит утлый чёлн
сквозь бешенство безумного потока
ныне и присно
последний грош истрачен голодом
но мало
мало
мало
тоска проснувшись

душу обожжёт
но тут же и умрёт
в её глухой безжизненной пучине
что за желанье разгорается в душе
а чуть промедлишь
тускло угасает
рябь облаков на робком лике ночи
довольно
скрылось всё из виду
и в этой бесприютности скитаний
без родины
одно спасенье
слабая защита
тайное терпенье и выдержка
не рвущиеся на клочки тумана
и кóлокола звук
дарует силу и утешенье
в горестных раздумьях
и длится
обещая не теряться
в холодной чуждости
бушующего мира
забота
Бог тогда становится большим
Великий Боже
и слабость не боится обнаружить свою
и тёмный жребий
ложится на лицо
и боль ударов тучей воронья

и комья глины
рот забивают
не дают дышать
и видит Он
головки поплавков
спокойных лишь в Господних водах
поддерживая груз Его величья

вопрос

душа
что остаётся знает только Бог
Бог знает
страх
стремленья тайна
награда Богу
лишь любить Его истоки
и тайну сокровенную Его
нести в себе
шепчу непостижимому любовью
открыты взору тленность и нетленность
и всё богатство сердца
в самой тайной плате
смиренной жертве Божией любви
горю неисцелимой раной
народа что не приняв перемен
чуждый Богу
упускает свой лучший час
оставляя его топорю своего палача
чему поможет

крик растерянного рта
о помощи
когда гнев свирепых противников
прячется от Бога во власти неправедных
и сокровенное
спит мёртвым сном в земле
душа горит
народ изгнан
Бог не смирившийся в тяжких битвах
видит
что Его награда упущена
народ изнурён
и брошен к ногам тех
кто его презирает
крику о помощи
остаётся лишь рассеяться в страхе
мне остаётся стремление
служить непостижимому Богу
отслужить данное Им мне на время
и я безмолвен тих
и ведóm Его духом
Бог знает
мне осталась
злая рана народа
самое тайное
чуждое корням
но верящее Завету
стремление в мире глумления
одинокое перед злобой опившихся

их в глубине своей тоже Его
слышит Непостижимый
когда страж сердечного богатства
скрывает обман попрошайки
послужит ли самая смиренная жертва
славе Божьей

человек и его день

12 картин для Виктора Ульмана

шаг в утро

взгляд
подносишь ладони к лицу
свет материнский
заливные луга
соломинка
шаг
на цветах проступает роса

песня

её так много
её всё больше
журчит ручейком
течёт потоком
дышит морем
флейта поёт легко
охотничий рог тяжело

родина

в земле
в прохладной земле
в её разноцветьи
в волнении полей
в округлости лугов
где её сердце и душа
в безопасности
возлюбленной
с тобой
и в весельи и в слезах
близость
рука и губы
тоска минует с тобой
и ни к чему
безумие иллюзий

в бараке

друг к другу
битком
построено тяжёлым трудом
предмет и суть
немо и оглушительно

сосед

помощь благо
рука в руке
дверь в дверь
стена к стене
всё взаимно

союз и узы

молитвы

в благочестии слов
наливается созревающее зерно
и преподносится
своему убежищу и источнику
к радости его

в лесу

окроплено
близко и далеко
аромат
дремлет солнце
воздух дремлет
шорох
пригрев
деревья
и аромат

сумерки

ниже
ниже
звон колоколов
пламенеют облака
дотлевет вечер
ниже
ниже
плывущее дыхание луны

ночь

приди мягкий сон
приди сладкая ночь
земля отдыхает
неяркое великолепие
одинок
мысли о сути

тишина

покой
молчание
смотреть и видеть
тишина
в блаженном созерцании
с Богом рядом
ночь провести

Одику²

широкий мир теперь нам слишком мал
но будем мы велики смысл сочинив
который нас поднимет в такие выси
где никакой гонитель его убить не сможет
и если мы пришедшие из далей другой страны
в зло рока чтоб его преодолеть
объединяемся неведомою властью
мы в духе родины воздвигнутой в сердцах

² Шарль Одик (Charles Odic) — участник французского Соппротивления, был депортирован в Бухенвальд. В 1948—1968 г.г. мэр Севра. В 1972 г. опубликовал книгу «Завтра в Бухенвальде».

воспламенённых чудом
черпаём нескончаемую силу
друг дорогой
мы рады б убежать
от настоянных на жалобах мытарств
и скрыться в миражах пиров любви
никто нас не спросил
но может сбыться
то что в душе мы страстно возжелаем
в смирении спокойном и негромком.
друг друга мы нашли
благословен сей час
братанье наше не таит угрозы
плечом к плечу союз среди раздора

Пагтеру³

что знаем мы
пустая суета исчезнет скоро
но то что осознаём
то недоступно тем
кому мы чужды
кому во власть достались мы
кому неймётся привести к распаду
то что ещё годилось бы вселенной
ослепнуть прежде нам с тобою суждено
чем свяжутся труды с дыханием и эхом
но тихо тайна с нами говорит
мудрее делает

³ de Paghter – голландский друг Адлера в лагере.

ведёт к родным истокам
как ни манит дорога
запуганные духом принужденья
гонящим нас
в связующих оковах
отважиться пуститься в путь не можем
единые в порыве пониманья
стремленья к свету
пусть он только снится
мы поняли что нас толкает в путь
и так нашли мы силы для пути

к далёкой любимой

ты далеко
любимая
жива ли
я тону в глухой печали
с тех пор как о тебе нет вести
как свет твой в мою тьму не проникает
погружено во мрак
всё одиноко
хрупко
смертельной стужей я завязан в узел
и зло и беспощадно надо мной
все радости умершие смеются
ты далеко любимая
мертва ли
взгляни как сотрясают меня чувства
робея в закипающих потоках

снов наяву и в дебрях сна мечтаний
приди же сон
дай хоть на час забыться
смотри
не приходи
о нет приди же
я не знаю
что пожелать себе ещё могу я
любимая
лишь смерти без желаний

ответ

тебе любимая мой одинокий плач
вскипающий в измученности сердца
я каждой клеткой чувствую тебя
но без тебя душа моя ослабла
когда жестокой бурей обессилен
с мольбой отважусь в свой пуститься путь
во мне тотчас же гулом отдаётся
страдание в бездонной прорве пыток
теперь ты стала беспокойной тенью
и сам я тень и тенью опоясан
и в шорохах рассыпчатых надеюсь
расслышать твой негаснущий призыв
но нет напрасно доверяюсь тени
я ничего не слышу кроме плача
лишь бесконечность воет моим криком
но больше в ней не прозвучать ответу
ответа капля на пожар вопросов

как ощутить любимая твой зов
я чувствую тебя но слов не различить
ответа жду которого не будет

к геральдине

позволишь ли ты мне
просительно умолкнуть в моей печали
я заклинаю образ твой
ты добрый дух спасающий меня
спасает ли
я знаю что спасает
в сияющем покрове
восходишь ты из тьмы
всем сердцем раненым тебя я призываю
оно усталое разбитое немое
в призыве этом обретает голос
и я ведём его спокойной силой
и становлюсь сильнее и сильнее
заботой мягкой чисто ты во мне живёшь
исполнена добра и милости
приходишь ты в мою печаль глухую
противореча ей и горечи переча
ты ли это
я узнаю твоё тепло душой остывшей
и счастлив я
да счастлив наконец
о смерть
да есть ли смысл умирать
когда весна щебечет у порога

но если должно
я теперь готов
со зрелым сердцем
встретиться со смертью
я близостью её спасён для жизни
и жизни посвящён
она возносит и кутает надёжно в аромат
что дышит мне навстречу
слетая с губ твоих
и знаю я
мы живы

смерть и жизнь

жизнь зимняя
ты смерть
ты смерть проглоченная ночью
смерть в горечи потерянной свободы
смерть огненная в корчах пламени
смерть в которой пропадают
в неё летящие пронзительные тени
ты смерть
к тебе сердца покорно привыкают
так беззащитные перед любым желаньем
они томительно стучат
в мечтательном порыве
и маются в безвыходной груди
о смерть
они хотели бы с тобой смириться
в жертвенности кроткой

однако тщетно
ты изливаешься горячей лавой тлена
на мир оцепеневший
и оставляешь до костей зарубки
ты чёрный хлеб голимой нищеты

оглянись на себя

растоптанный и уничтоженный
оглянись на себя
хозяин ли ты своей жизни
затерявшийся в смерти
что злобно травит тебя
ты не идёшь на свет мечты
ты гнусный комок
обречённой на гибель слизи
вся вселенная против тебя
вселенная
вычерпала и выбросила
глухое безумие ослепило тебя
бог
а что бог
ты от него далёк
ты не владыка мира
пути к богу давно нет
грязная щепка в буре
ты стынешь в кулаке дьявола
без родины без приюта
оглянись на себя
сколько ни утешайся

ты озверевший зверь ненависти
боже мой
что они с тобой сделали
брошенная в лоно пропасти
ночь
глочет тебя
и тьма
безмерна и нескончаема

рабы

брошенные
кичливыми мерзкими подонками
на землю
они падают лицом в грязь
никнут
обносившиеся и опустившиеся
не узнающие самих себя
в бормотании слухов и кривотолков
эти твари не в себе
помешанное время
плетёт сети дурных метаний
и впрягает смерть в её тягло
погоняемую кнутом убийства душу
не спасает пряник надежды
и она корчится
в смертной судороге сарказма
те кто мог бы любить
приходят не с дарами
а со скрежетом

проникнутого ненавистью приговора
и чванятся своей властью
никто больше не свободен
только рабы рабы рабы
и никакой надежды

похороны

песнь первых зябликов
воскресный день
а воздух отсыревший
ещё по-зимнему до самых до костей
немые сосны смотрят трепеща
с песчаной осыпи
в печальной робости
в несчастных грешников
убогие могилы
полдюжины мужчин
подставив плечи
под наспех грубо выстроганный гроб
вяло волокуются на хмурый холм
дождит слезами небо
ночь неотвратима
могилы бездна поглощает жизнь

козёл отпущения

когда-то я был человеком
теперь я вина
современник давящегося стоном
тысячелетнего преступления

сказки о его милосердии уже не для меня
но я давно не ответчик
за чёрные оргии злодеев
я сотворил своё время
обрёл терпение
и буду отмщён за ненависть врагов
заклятая безумием тщета приговора
не может заковать меня в свои цепи
я чужд их грехам
но они отвернутся
едва меня охватит шорох огня
меня поглотит песок пустыни
но я понесу груз тысячелетия
и да воздаст мне эту честь
даруемое Богом спасение

усталость

в объятиях усталости уснуть
но сон прийти боится
тревога мечется в бессонной суете
и не находит места
в тисках усталости
закоченели раны
бежать
бежать
но слишком крепко связан
усталостью свинцовой
власть её неумолима
вгрызается

высасывает
жизнь из пустоты
любовь уже не греет
чувств не осталось
голая нужда
бесстыдно лыбится в мучительных объятьях
суля волною страха захлестнуть
и хриплым воем ледяной тоски
нет
от усталости мне никуда не деться
отныне сон запрещен
надежда тонет в пене суеты
и пристани
как ни старайся не сдаваться сну
не разглядеть

неизвестная народная песня

мне до тебя добраться
отныне не дано
увы мне я растерян
забыт давным-давно
мне жребий погребенья
в глухой тиши земной
мой маленький подарок
отвергнут злой судьбой
я умер слишком юным
увяла роза та
любовь погибла рано
осталась пустота

ты только не печалься
тебя не тронет тень
спи твой блаженный трепет
укроет снежный день
а если силы тают
мне принеси любовь
пусть путь к моей могиле
подскажет сердца кровь

окаменение

крик дроздов из чащи леса
весенний воздух всё ярче
робкое пробуждение весны
терзает изболевшуюся душу
графика сосен
тянущих тени
к далёким печальным возлюбленным
моей боли им не понять
лучше бы я ослеп
блёклое сито вечернего неба
кутает в саван серой печали
в корчах неукротимого трепета смерти
думаю немо о мёртвой любви
лавина рождённой неволей ярости
превращает сердце в пустыню
претерпеваю как торгуются душа и плоть
как злая страсть становится разбоем
роса мира
молодое вино

вспухающее пеной слёзной крови
окаменевший в лишениях
окоченевший в холоде
так и умру среди убийц

предвесенний день

дробится ночь
крадётся прочь
пронзают стрелы выюг
гоняя снежную крупу
по высохшим холмам
за ветром вслед влачится день
на больно голый склон
терзает так что гонит страх
из склепа дней сбежать
внизу дыхание долин
манит к себе туман
что оперяется в лесу
и дымкой льнёт к траве
не оттого ль я одинок
что гибелью заклят
лицо ещё щекочет жизнь
но тело смёрзлось в прах
вечерней бури тяжкий стон
поля вгоняет в страх
надежда на семи ветрах
пропавший ищет след

наступление ночи

восходит ночь
сырой огромной штольной
сжирает мутный день
гигантской пастью
сумерек остатки набрякли тяжко
в продрогших клочьях стылого тумана
и лес
и луг
и человек
и зверь
стыдливо растворились
в потоке тьмы

одинокая весна

пора бы и весне
но душу
на угрюмой дыбе цвета
пытает осень
пора бы утром
солнечному свету
будить меня
но чувствую лишь ночь
над лесом и над полем
тепло мерцает блеск
крошится мой венец
в печали по увянувшему чувству
усталое убийственное время
меня сковало холодом смертельным
попитанная страхом смерти ржа

грызёт меня пока ещё живого
а там в долинах почка и зерно
в порыве пробужденья
туманы зализывают день
исколотый терновником
дымка утреннего мира
мне холодит лицо
о Боже дай мне что пожелаешь
что приведёт к Тебе
и то что уделíšь
не ношей тяжкой будет
а наградой
о Боже
милосердие Твоё
вот свет моей звезды
МОЛИТВА В ТЯЖКИЕ ДНИ
изобилие мира
осталось ли от него хоть что-то
ошмотья несчастной плоти
в дьявольском буреломе
изуродованные желание и любовь
с вывороченными корнями
в затхлом смраде угроз
плодятся страдания и страхи
визгливые жалобы
гримас ненависти
вгоняют в ужас
прах спотыкается
о больное бытие земли

вдребезги разбилось
сияние дарованного времени
лицо окровавлено
дикими когтями
в клочья разодрано моё платье
дай же нам всем поскорее
вечность
открой пути
а если духовное чутьё
обратится против Тебя
благим дождём Твоего слова
даруй семя и благословение
сними проклятье
многое
праведно хранимое в Ветхом Завете
осталось от изобилия мира
отданная в Твои руки
и озарённая Тобой
остаётся
скреплённая Тобой
наша любовь

плач и утешение

они чуть не погубили Бога
и измарали Его светлый мир
потёмки их спящих душ
осмеяли чистоту Его святости
всюду царит изрыгая угрозы
злая сила

и если кто-то осмелится рассмеяться
в лоснящуюся рожу насильника
Бог онемает от боли
причинённой Ему диким безумием
эта боль знакома тем
кто робко вслушивается в даль
кто в немом нетерпении
ждёт зова и страстно всматривается
проваливаясь в ожидание
но зов не раздаётся
песня не льётся
лишь мерзостно одураченный слух
испуган пронзительным звуком
и трепещет в застывшем дне
перед Богом
которого они чуть не убили
в Его светлом мире
так боязливо измученном
потёмками их душ
в злобе и набухшей ненавистью давке
ничто не спасёт от злой силы
никакое молящее песнопение
что искрясь смеётся в ужасе
и вопреки звучанию трепета
сквозь тьму бесчестия и ночи
с нетерпением ожидает
негасимого солнечного света
ожидание
всматривается в Него

и не высмеивает Его святилище
когда-нибудь
не замороченный больше злой насмешкой
прольётся новый день
будьте радостно смелы
присутствие Бога
исцелит безумие светом
не приносящим боли

ночь бесконечна

без чувства сгоревшая ночь бесконечна
мёртвое море
иссохшее море
зброшенное пространство
ночь без меры и края
лихорадочно коченеющая
величавыми призраками
исчезающими в чёрной пене
всё съёживается и застывает
свежим росткам остаётся лишь цепенеть
кровь сворачивается в руду
немо замирает
любая мечта
задушенная туго затянутыми болтами
и лишь судьба
злой рок
ночь без рассвета
лишь знак
завернувшейся в платок глубокой скорби

туго набитое чрево ночи
жиреющей невезучими должниками
отчуждённо и брезгливо
роящимися в колтуне толпы
где жизнь внезапно задыхается
и стыло испускает дух
ночь нага́
пугливо спотыкается весло времени мрака
дымящегося тленом
безлюбое
чужое
ни брат ни друг
время отчаянно вспухает
отвесной пропастью
только ночь
эта ночь
ни одной душе этого не вынести
беда
пьяно матерясь
призрачно плетёт свои сети
поглощает окружающую вечность
и глумится над светом
что по слову Творца
хотел бы пробиться
сказав Его
да будет свет
туда
где желания и мольбы засыхают на корню
низринутые

грязными гиблыми волнами
в бездонный порок
удушливой тревоги

однажды

однажды
ах если бы хоть однажды
покой
однажды
приют кладезь удовольствий
однажды
тёплая от ног пыльная обувь
однажды
возможность сказать мирное слово
и не изводя себя сумбуром и безумными шутками
проводить время в комнате с книгами и сундуком
однажды
всего лишь однажды
покой
однажды
покой от потока дурных мыслей
однажды
отличимый от ночи день
однажды
выпрямиться не колеблясь
однажды
наслаждаться лесом и лугом
никогда больше не страдать под гнётом
и в безопасности от преследующих лап чудовищ

однажды
быть свободным от дум
однажды
хоть однажды
насладиться собственным временем
однажды
радостно сбросить груз хлопот
однажды
беззаботно открыться чудесам
однажды
исцелиться от наследства предков
и ничего больше не знать о язвах и ранах
однажды
с облегчением излиться
освобождаясь от тяжести и страданья
однажды
насладиться правдой
однажды
да будет позволено наконец покою
объять меня тихой негой
радостно я принял бы пыль дорог на свои башмаки
я хотел бы отважиться на тайное благоговение
но меня гнетут чёрные мысли
только однажды
забыться в безвинном покое
однажды
только однажды
покой

заблудившаяся молитва

в гнойных струпьях и ранах
злой судьбы
брошенный в бездорожье ночи
лихорадочно бормочу
смущённую молитву
судьба мне
утонуть бесследно
без надежды
без отрады
одинок
безутешно
захлебнуться забвеньем
в водовороте призраков
кому повем
кто услышит
мою гнетущую мир нужду
когда украшенные обрывками былой мечты
мысли парализованы
без дороги брошенное в пропасть
где полощет жертву ночь
вечно моет и полощет
бродит моё угасающее знание
чуждое себе и своим корням

раненый мир

прочь
подалее отсюда
но меня всё держит

ничто меня не держит
спутник мой одиночество
рана моя весь свет
и любовь моя страх за всё
что дорого душе
и всё чего страстно хочу
тёмная рана
мой мир
в неведеньи
разорванный в клочья
предстану перед последним судом
и пусть умру
но не смирюсь
со страшной раной земной
исчез бы отсюда с моей раной
но я и родина одно
не соблазнят меня
призывы покинуть её
я сам
рана этого мира
я бы хотел и не хотел прочь
и не знаю
но знаю
что меня держит
спутник мой в моём одиночестве
самая глубокая рана
раненый мир

МОЛИТВА О НИСПОСЛАНИИ

Ты
смутный свет
молю
услышь
коль я лишь в отцовском Твоём глазу
малым семечком и существую
и сгожусь ещё
чтобы расцвести
так дай мне умереть не теперь
так дай же
о смутный свет
силы
чтобы на страшном суде
мне было позволено
погрузиться в Твои замыслы
и понять Твой план и набросок
Твой план
в котором увижу себя
без вины виноватым
доверяющим только Твоему духу
подмастерьем
ступенькой
перед порогом
что строю
для Твоего жилища
узрю я
кто строит силу Твоих планов
но мои долги что семена
прорастают слезами

оплакиваешь Ты мои страдания
как я Тебя в нетерпении желаю
так дай мне себя

одинокие пути

1

мне нечего больше терять
я не могу больше думать о малом
и потому обращаюсь
к создавшим человека
и украшающим его
праподавкам
здесь я стою
и хочу принадлежать себе
а не доверить себя дикому зверю
что похотью ужимок
оскорбляют мою душу
я так стар
я больше не могу
упёртостью преследователей
стеснять свой дух
и льстить льстецам давно уже не хочу
хочу лишь погрузиться глубоко
в целительную силу Творца
чтоб не окоченеть
и вкусить блаженства

2

во что бы то ни стало
я должен победить

хочу сделать своей страстной целью
самые потаённые сокровища
гордясь пыльными зубцами
крепостной стены
я видел
и мои желанья питают
источники
что тайно струятся
и вновь возводят то
что давно живёт в душе
по законам духа
я молод ещё
и хочу
на радость звёздам
вплетать духовное
в этот тварный мир
буря
молния
свежесть мысли
превратят в лохмотья
всё что сковывает меня цепями
и плоть моя очистится от скверны

новый год 1945

переполненный войной гнётом кровью распрями
тяжкий год подходит к концу
мы претерпеваем горечь времени
бушующих опустошительных пожаров судьбы
смерть

сеяла ненависть и зависть
как грешны были наши руки
отыщись пути к спасению
мы были бы готовы
к публичному покаянию
в качестве созревшего
жертвенного хлеба Господа
который даётся нам Его волей
Он то благословляет то далёк
и видит как убоги наши усилия
теперь тише
Его свет
хочет явить себя
первой звездой
нового года

ВОЗМОЖНО

возможно
темнота густа
возможно
треснет эта хрупкая броня
возможно
счастье справится с несчастьем
посланец возвестит освобожденье
и уничтожит ужасы и страхи
возможно
свет блеснёт из темноты
возможно
может быть возможно

мир велик
и вопреки всему что мы узнали
спасение возможно станет чудом
возможно
проклятие уступит место благу
надежды не лишатся исполненья
возможно
безграничное смирится
возможно
что спасение родится
из праведного как слеза смиренья
где жажду милосердно
сокрытый пламень ада украшает
возможно
однажды канет в неги то
что нависает непроглядной жутью
как будто алчет человеческих душ
голодный дух безумья

бессмертие

бессмертие моё ли ты теперь
ведёшь ли ты меня дорогой к Богу
скончался ль я и твой ли я теперь
зерно ли я в бессмертья оболочке
и если так одно ли мы теперь
возьмёшь ли ты меня отсюда прочь
под небо сердоболья своего
и превратишь ли в звёздочку средь звёзд
позволь в твоём расплавиться огне

в тебе живым и мёртвым раствориться
в плену остаться памяти твоей
позволь моим деяньям течь в тебе
чтобы в тебе достигнуть завершения
и в солнца твоего цвести лучах

в этом времени

в этом времени и против него
чужой и близкий
таинственно вглядывающийся
в глубины духа и тела
посвящённый в возвещающие
о ненависти и любви причины
разрушенный и возрождающийся
ты наготове
неуязвимый для бед и обид
ты готов
ты слышишь грохот этого мира
в котором всё рушится
и понимаешь радость и страдание
всех земных тварей
сплетаясь в клубки
гонимые бурями
в замкнутом пространстве
они угасают и загораются
ты же свободен
ты свободен
ты собиратель этого времени
доверенное тебе временем

ты вначале внимательно рассмотрел
и освятил этот мир
взглядом и смыслом
дарованных вечностью основ
воплощённых здесь в разноликих картинах
ты сам время

мгновенье творения

забывающее Его мгновенье
лишь парение мёртвой печали
убоявшийся повседневных лишений
теряет собственную жизнь
и не видит своих истоков
это мгновенье
уничтожает любое счастье
только тяжёлая и долгая
шаг за шагом
неустанная работа
способна победить
корневую тьму
мгновение
когда мир сбивается с пути
к предначертанному спасению
обременяет себя ужасом
но ценно творением

песня скитальца

разлука жребий мой отныне
моим скитаньям нет конца

пока поруганы святыни
родного не найти крыльца
нет ни пристанища в могиле
ни смерти что освободит
бреду в бреду бессилья силы
и вечность мне в глаза глядит
под ноги стелются дороги
мой след по всей земле бежит
мечтаю о родном пороге
как вечный жид
из бегства не творя кумира
сумею то что не сумел
и доброй станет прочность мира
как Бог велел

на краю

стоя на краю
вижу
здесь отважусь на последнее
где возвышаясь над всем
опасно влекут
вопросы вопросов
я в глубине души
спотыкаюсь
о всем сердцем принимаемый закон
Господи
Ты казнишь и милуешь
я Твой
Господи

Ты созидашь и разрушаешь
Твой я Твой
Господи
Ты наблюдаешь и действуешь
оставляешь всё как есть и преображаешь
прими меня как принимает оправа
камень
собираюсь с мыслями
и смущён
не изгой ли я здесь
гордец
которого бури мира
сначала в снах
потом наяву
воспитали
трепали меня так
что я породнился со всеми началами
теперь я росток всего творящегося
и причина в Тебе
позволь же
всему уладиться
расти в Тебе
чтобы Ты и я
были вместе
чувствовали всё
как единое целое
мудрости и красоты

на пределе

так на пределе
где границы
уже рассорили полёт и бегство в пух и прах
когда повисший без опоры вопрос
безбожно расточается в безмерном
рождая роскошь из нужды
в безумии отчаянном паденья
и ни одно творение не может
труд образа в единстве воплотить
когда законы меж собой в раздоре
и не ведут к могуществу и силе
так на пределе
где чужие голоса
вкруг разума роятся там
где равновесие держать необходимо
сбрав себя из рухляди в одно
а оно плывёт и тает
растворяется алчбою
земли своей остатки жадно губит
собой хмелея мысли закипают
настойчивые
просятся на волю
историей высокой скоро станут
так на пределе
удержаться под сводом чувств
рождённых вольным ветром
что воспаляют
новый мир и движут
уж воет вихрь пред новыми вратами

ища лицо
чтоб не вслепую дрались
с безумьем предков пьяные потомки
а чтобы
светло и благостно пришли
избранниками будущего мира

согласие

чем станем мы в неведомом сегодня
не заглянуть в незнаемое завтра
утратившие родину
мы жертвы в битве за кормёжку
так скуп паёк судьбы
и ждать обречены мы чьей добычей
окажется кровь порванных сердец
кому понравится купить нас по дешёвке
злой своре в грязь затаптывать сердца
не будет нам и малой передышки
забитые измученные
мы невольны
изрубленные дни берём на душу
в самих себе нуждаясь
и ни крохи голодными не видя
мы солью утешаемся отбросов
изглоданные струпьями мы терпим
калечащие ласки наказаний
и готовы над головой воздеть рубахи
белым флагом мира
которого стыдятся убийцы

краснеют флаги от следов войны
бессильно падают
и сами мы паденье
под музыку пронзительную флейт
мы стужа и заледеневшая волна
и олова расплавленная лава
которой власть имущие паяют
зияющие раны межвременья
мы орудие жестокого убийства
и неизвестности гнилой источник
мы неизвестность
в мире что решает свои судьбы
мы раз за разом
вечно наступаем на грабли сказок
что решим навечно
мы не хотим страдать
но мы готовы
сносить невыносимые мученья
дабы отмучиться однажды навсегда
что может поддержать нас
смирение принять одно из двух
освобождение или принуждение
и если мы не можем защититься
согласие поможет устоять
и попытаться обрести отраду
в вечном слове Бога
которого душою страстно чтим.

Абрам Торпусман

Вокруг «киевского письма» Полемиические заметки [1]

(От редакции. По требования типографской базы «Ридеро» статья публикуется с сокращениями. Полностью текст статьи можно прочитать в сетевой версии альманаха «Еврейская Старина» №3/2019)

I. Открытие и публикация

Более полувека назад, в 1962 г., гебраист Норман Голб (Norman Golb), профессор Чикагского университета, обнаружил в библиотеке Кембриджского университета, в коллекции еврейских манускриптов из Каирской генизы [2] (доставлена в библиотеку в 1896 г.), документ, впоследствии названный Киевским письмом. Документ представляет собой лист тонкого пергамента размером 22,5 на 14,4 см.

Подобно многим другим письмам из хранилища, он несёт следы складывания для транспортировки – семь вертикальных складок и одну горизонтальную в середине страницы. На внутренней стороне пергамента – текст, написанный пером на иврите, кое-где стёртый, но в целом очень хорошо сохранившийся. (Киевское письмо – один из самых ста-

рых документов генизы.) Слева, в последней строке письма, – слово, написанное кисточкой неизвестным руническим письмом.

Текст представляет жанр, типичный для Каирской генизы: рекомендательное письмо некоей еврейской общины другим общинам с просьбой помочь предьявителю письма *Якову бен рабби Ханука* расплатиться с долгом иноверцам. Собственно говоря, должником был брат предьявителя, ограбленный разбойниками и убитый, а сам он был гарантом брата. Из-за этого долга *Яков* оказался в узилище («наложили железные цепи на его руки и кандалы на его ноги»), но через год был отпущен под гарантию общины, уплатившей часть долга (60 *закуков* – не вполне понятная денежная единица), однако 40 *закуков* ему предстоит ещё собрать. Письмо на изысканном иврите содержит красноречивые призывы к благотворительности и завершается списком членов общины, подписавших его. Письмо, включая 10 первых подписей, выполнено одним почерком, 11-я подпись сделана другой рукой (руническая приписка – третьей).

Исследователь обратил внимание на имена (личные имена и патронимы – «отчества») подписавших документ. Большая часть их – нормативные еврейские: *Аврахам, Ицхак, Иехуда, Моше* и др. (от одного из них сохранилось только окончание «-эль» – Израэль? Даниэль? и т.п.), три имени редких: *Шимшон, Ханука, Синай*. Но шесть имён были явно нееврейскими, и Голбу некоторые из них показались тюркскими.

Восьмая строка содержит географическое обозначение общины, по всей видимости, отправившей письмо, — קהל רעפּוּװ... של (каһаль шель ...ийов) – «община ...иева». вая буква названия города приходится на стертость (изгиб) и не может быть прочитана. Голб решил, что стершаяся буква — «куф», а город – Киев. Все, кто занимался письмом после Голба, с этим согласились. (О двух исключениях – см. ниже.)

Учитывая вышеизложенное, исследователь предположил, что письмо относится ко времени, когда Киев платил дань хазарам, и отправлено хазарско-еврейской общиной города. Он поделился своим предположением с тюркологом, профессором Гарвардского университета Омеляном Прицаком (Omeljan Pritsak). Прицак проанализировал нееврейские имена рукописи и вскоре пришёл к выводу, что все они – тюркско-хазарские. Ещё через некоторое время тюрколог предложил интересную расшифровку рунического слова как разрешительной резолюции от хазарского чиновника (перевод: «Я читал»).

В марте 1967 г. Голб и Прицак выступили с совместным сообщением об открытии на собрании Американского восточного общества. Однако только в 1982 г. (через 20 лет после открытия) текст Киевского письма был опубликован с подробными и разносторонними комментариями в составе книги **Norman Golb and Omeljan Pritsak. *Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century*. Ithaca**

and London и подвергся обсуждению мирового ученого сообщества. Русский перевод книги Голба и Прицака: **Норман Голб, Омельян Прицак. Хазарско-еврейские документы X века. Москва—Иерусалим** вышел с комментариями московского историка Владимира Петрухина уже двумя изданиями (1997, 2003) [3] и широко читается – не только учёными. Настоящий обзор посвящён 35-летию английского издания.

II. Истолкование письма Голбом и Прицаком

Книга «Хазарско-еврейские документы X века» состоит из двух глав (статей): «Киевское письмо – подлинный документ хазарских евреев Киева» и «Текст Шехтера – анонимное хазарское послание Хасдаю ибн Шапруту». Обе статьи новаторские и представляют значительный прогресс в нескольких областях исторической науки. Следуя теме, ограничимся первой из них.

Статья о Киевском письме состоит из двух разделов, каждый из которых подписан одним автором. Это даёт возможность разделить ответственность за отдельные утверждения. Тем не менее авторы согласовали общую концепцию, и можно говорить о едином понимании ими смысла текста Киевского письма, его истории и времени написания.

– Голб и Прицак полагают, что письмо написано в X в., Прицак предлагает точную датировку – ок. 930 г. (с. 36, 96).

– Восьмая строка письма начинается словами: «Сообщаем мы вам, община Киева...». Поскольку ранее, в строке

шестой, уже обозначен адресат письма – «святым общинам, рассеянными по всем уголкам [мира]», Голб определил, что «община Киева» – отправитель (с. 21).

– По Голбу, имя героя Киевского письма и имена подписавших письмо свидетельствуют о типологической близости даже их исконно еврейских имён набору имён хазарских царей и вельмож, – набору, известному нам по другим хазарско-еврейским документам: письму царя Иосифа и анонимному письму хазарского еврея, адресованном канцлеру Кордовы Хасдаю ибн Шапругу (с. 36—41). Шесть же нееврейских имён «подписантов», по Прицаку, являются тюркско-хазарскими, причём четыре из них представляют собой (либо включают в себя) названия хазарских племён (с. 53—68). Киевская еврейская община X в., по убеждению Голба и Прицака, целиком состояла из хазар-прозелитов и (или) их потомков.

– Еврейская община города – раввинистические ортодоксы (не караимы, не сектанты) (с. 42). Однако неувязка между прозелитизмом и строгой ортодоксией проявляется в некоторых именах, например, *Манар бен рабби Шмуэль кохен*, *Иехуда бен рабби Ицхак левит* и др. Прозелиты и их потомки в принципе не могут быть кохенами и левитами, ибо эти звания передаются у евреев по отцовской линии от времён Первого и Второго храмов. Голб предполагает, что такая неувязка сложилась в первый, «примитивный» период хазарского прозелитизма, когда *камы* – жрецы бога Тенгри – провоз-

гласили, что одни из них отныне являются иудейскими священниками – *коленами*, а другие помощниками священников – *левитами*. Эти звания сохранялись далее за их потомками по мужской линии также и после того, как в Хазарии утвердился раввинистический иудаизм (с. 42—45).

– Иудаизм, в который первоначально обратились только правители, «пустил корни по всей территории Хазарии, достигнув даже пограничного города Киева» (с. 48).

– Голб полагает, что денежная единица *закук* соответствует византийской золотой монете *триенс* (с.42).

– По выкладкам Голба и Прицака принятие хазарами иудаизма привело к появлению у них двуцарствия. Военачальник *бег* узурпировал власть, отобрав её у сакрального властителя *кагана* (с. 54).

– Руническая подпись прочитана Прицаком на гунно-болгарском языке *hokurim* («Я читал») и истолкована как разрешение хазарского чиновника (с. 62—63).

Дальнейшие утверждения, касающиеся истории Киевской Руси, принадлежат Прицаку:

– «Полянами» автор «Повести временных лет» именует хазар (с. 70—71). Киев был основан (или завоёван) хазарами в VIII в. (с. 70). «В течение последнего десятилетия IX в. и в первом десятилетии X в. должность главы вооружённых сил Хазарского государства занимал [человек по имени] Куйа» (с. 75). Этот хорезмиец иранского происхождения послужил прототипом зафиксированной в летописях легенды

о Кие и был основателем (или строителем) Киевской крепости. Упоминаемое в «Повести временных лет» здание «Пасынча беседа» близ киевского района Козаре означает «резиденцию хазарского таможенного чиновника» (от хазарского *bas-inč* – «сборщик налогов») (с. 79—80) и, наряду с подписью к письму «Я читал», поставленной чиновником, свидетельствует о реальной хазарской власти в городе до прихода руси. Завоевание Киева русью во главе с князем Игорем произошло в начале 30-х гг. X в. (с. 94). Незадолго до этого события было написано и отправлено Киевское письмо.

<...>

III. Первые отклики

Выдающееся открытие было с огромным интересом встречено учёным миром. Правда, и в самых благожелательных откликах обычно выражалось несогласие с тем или иным истолкованием текста «Письма» его публикаторами. Так, американский хазаровед Питер Голден приветствовал открытие [4], но и подверг авторов критике: «Голб мог бы быть осторожнее в своих утверждениях относительно времени иудаизации хазар [VIII – начало IX в., – А. Т.] и в той же мере о сакральной метаморфозе [преобразование *камов* в *коленов* и *левитов*, – А. Т.]. Это резонансные спекуляции с недостаточными данными в руках. Они вполне могут быть представлены как гипотезы, а не как установлен-

ный факт... Хазарское двугарствие (отмеченное и в других кочевнических тюркских сообществах) ... – феномен, широко отмечавшийся в этнографической литературе» [5]. Голден подверг сомнению интерпретацию Прицаком хазарской приписки:

«Такое прочтение, вполне вероятное, не может быть принято безоговорочно... Сходным образом прочтение Прицаком хазарских имён и топонимов... должно быть исчерпывающе точным или же должны быть предложены другие интерпретации. Данные здесь неоднозначны и могут быть истолкованы другими способами» [6].

Рецензент Симон Шварцфукс высказал мнение, что письмо было послано не из Киева, а в Киев, ибо сочетание «община Киева» стоит после местоимения «вам», а не местоимения «мы» [7].

В работе Абрама Торпусмана [8] приводились аргументы, что одно из имён «подписантов», истолкованное Прицаком как тюркско-хазарское, является восточнославянским и, возможно, то же относится к некоторым другим. Владимир Орел, присоединившись к этому мнению, предположил, что имя <...> записано с ошибочной перестановкой двух букв, читать его следует <...> (*сирота*), и оно является славянским прозвищем. Остальные подписавшие письмо (кроме двух *парнасов* (руководителей общины) указали не только свои имена, но и отчества, и лишь *Йеһуда*, приведший вместо отчества прозвище *Сирота*, по мнению Орла, являлся

прозелитом, отрекшимся от отца-язычника[9]. Торпусман не согласился, что община Киева состояла из хазар-прозелитов; их иноязычные имена – результат внешнего культурного влияния на евреев, что характерно для любого исторического периода. Шварцфукс и Торпусман не признали также убедительной гипотезу Голба, будто хазарские *камы* были заявлены и признаны мнимыми кофенами и левитами.

Игорь Кызласов счёл «произвольным» прочтение Прицаком рунической надписи в тексте[10].

Наибольшие протесты вызвали исторические построения Прицака главным образом со стороны советских и ряда постсоветских учёных. Так, киевский историк Алексей Толочко решительно отверг всякую возможность реальной хазарской власти в Киеве X века[11]. Не согласился с этим утверждением Прицака и директор Института российской истории в Москве, чл.-корр. Академии наук СССР Анатолий Новосельцев[12]. Некоторые из советских историков не только критиковали комментарии Голба и Прицака, но и выражали недоброжелательное отношение к самому Киевскому письму.

IV. Дальнейшие отклики и обсуждение памятника

Одной из важных причин замалчивания и неприятия памятника в Советском Союзе были антисемитские стереотипы, укоренившиеся в сочинениях по отечественной истории, – начиная с периода позднего сталинизма и вплоть до конца советской империи. Тогда, по замечанию Питера Голде-

на, у советских историков «хазарская тема стала почти табу»[13].

Своеобразному проклятию предал книгу «Хазарско-еврейские документы X века» главный специалист советской Украины по истории Древней Руси, директор Института археологии акад. Петр Толочко. Приведу начало единственного абзаца монографии учёного, в котором упоминается «зловредное» сочинение: «В недавно вышедшей работе Н. Голба и О. Прицака, посвящённой публикации двух, касающихся истории славян, документов хазарского происхождения, была возрождена и доведена до абсурда теория о неславянском происхождении полян, а следовательно, и основанного ими Киева. Авторы посредством передержек в цитировании летописи и вольного толкования археологических фактов...»[14] и т. п. Брань занимает весь абзац.

Через немало лет, в независимой Украине, академик позволил себе посвятить абзац уже оценке «новооткрытого» документа. Начало этого абзаца: «Прежде всего о самом письме. Даже если согласиться с его подлинностью (в чём нет полной уверенности) и с тем, что написано оно в Киеве в первые десятилетия X в., то максимум, на что уполномочивает оно добросовестного исследователя, это на утверждение о наличии в Киеве в это время иудейской хазарской общины, вероятно, торговой колонии. Ничего нового, а тем более сенсационного, в письме не содержится» [15].

Вместо того, чтобы радоваться появлению уникально-

го материала по истории Киева, учёный явно стремится преуменьшить значение памятника. Так предвзято отнёсся к Киевскому письму наиболее квалифицированный украинский специалист по истории отечественного Средневековья; учёные меньшего ранга уже никак не стыдились своего «невежества», начисто игнорируя документ.

По счастью, следование традициям советского государственного антисемитизма стало уже маргинальным явлением. Многие учёные России и Украины внимательно отнеслись к документу, анализируя его данные для осмысления отечественной истории. Наибольший вклад в это дело внёс московский профессор, историк и археолог Владимир Петрухин, тщательно и достойно прокомментировавший русский перевод книги [16]. Отмежевавшись от «советской официозной концепции», он заметил: «Любое известие о древнейшей истории Руси и Восточной Европы драгоценно, тем более когда оно касается жизни столицы одного из крупнейших средневековых государств» [17]. С большинством построений Прицака Петрухин не согласился; такой подход разделили последующие исследователи Киевского письма, и не только в России.

Лингвист акад. Владимир Топоров (Москва) увидел в письме знаменательное начало отражения вечной и важной темы славяно-еврейских отношений [18]. Украинский историк проф. Александр Тортика посвятил памятнику специальную работу, в которой, исходя из сюжета письма, легко

и логично опроверг возможность того, что оно было написано при хазарской власти в Киеве [19]. По мнению Тортики, неспособность еврейской общины заплатить 100 монет (даже если имелись в виду не серебряные арабские *дирхемы*, наиболее распространённые тогда на Руси, а полновесные золотые византийские *солиды*) свидетельствовала о её нелёгком экономическом и правовом положении. Под властью хазарского наместника иноверцы не посмели бы держать год в кандалах уважаемого члена еврейской общины, даже и задолжавшего. В X веке власть и экономическая сила в Киеве находились в руках не хазар и евреев, а варяжской дружины. Еврейские купцы испытывали затруднения в торговых поездках. Варяги (которые были не только воинами, но и торговцами) скорее всего и дали в долг деньги брату *Яакова*, они же, по всей видимости, и убили и ограбили брата в дороге, а затем предъявили счёт *Яакову* и предали своему суду. Известный нам маршрут *Яакова* за 40 денежными единицами (**Киев – Каир**, а не **Киев – Итиль**, по которому целесообразнее всего было бы отправиться должнику при хазарской власти) показывает, что дорога в Хазарию была тогда закрыта.

Письмо в качестве источника по правовым нормам Киевской Руси внимательно проанализировано в работах заведующего кафедрой Удмуртского государственного университета проф. Владимира Пузанова [20]. Пузанов рассматривает пребывание *Яакова* в оковах как пример долгового раб-

ства, отмеченного в источниках Северной Европы. Профессор примкнул к тем исследователям, которые отождествляют *закук* с *дирхемом*, и, ссылаясь на источники, определил сумму в 100 *дирхемов*, которую заимодавцы потребовали с Якова, как обычную в то время стоимость раба [21].

«Уникальность „письма“, – констатирует Пузанов, – даже не столько в его древности, сколько в содержащейся в нем информации, единственной такого рода для Древней Руси. В отличие от других... источников, в „письме“ дано не частичное, а практически полное описание юридического казуса, связанного с поручкой и ответственностью поручителя. Более того – описан случай двойного поручительства (Якова за брата и общины за Якова) и выкупа поручителя поручителями со своеобразным залогом. Сомнения относительно подлинности рассматриваемого документа безосновательны [ср. приведенное выше мнение акад. П. Толочко, – А. Т.]. „Письмо“, в отличие от еврейско-хазарской переписки и Кембриджского документа, не несет в себе выраженного политико-идеологического заряда. В нем описывается заурядная частнопроводная сделка, которая, в силу драматического и, в то же время, достаточно типичного развития событий, потребовала вмешательства киевской иудейской общины... Это дошедшие до нас осколки простых житейских трагедий, которые теряются под пером летописца или законодателя. Тем они и ценны для историка» [22].

В докладе «Достижения и перспективы хазарских иссле-

дований» (Международный хазарский коллоквиум, Иерусалим, 1999) проф. Голден оценил монографию Голба и Прицака так: «Несмотря на критику, работа остаётся важнейшей в своей области» [23].

Израильско-германский тюрколог Марсель Эрдаль в докладе «Хазарский язык» на том же коллоквиуме посвятил значительную часть выступления критическому разбору этимологий Прицака, касающихся нееврейских имён в Киевском письме. Частично согласившись с этимологиями, предложенными Орлом и Торпусманом, он отверг все построения Прицака и сам представил интересное прочтение имени <...> как готское или древнескандинавское <...> («чёрный»). Далее, Эрдаль принял предположение Шварцфукса, что письмо направлено в Киев, а не из Киева, и признал возможным, хотя и несколько сомнительным, толкование рунической надписи «Я читал». Эрдаль высказал мнение, что письмо отправлено из Дунайской Болгарии и разрешительная надпись сделана на болгарском [24].

Торпусман в новой работе попытался оценить культурно-исторический аспект списка имён киевской еврейской общины, представленный в письме. Славянские имена, которые носят в X в. некоторые киевские евреи, свидетельствуют об их славянской аккультурации. Предложена иная разбивка слов 26-й строки письма, чем у Голба: <...> (*Гостя-та бен рабби Кый бен рабби коһен*), которая предполагает в семье коһенов два поколения, носивших славянские име-

на. Сходный процесс языковой ассимиляции переживала тогда и варяжская дружина в Киеве, что отразилось в имени княжеской семьи: сын Игоря и Ольги впервые был назван именем, хотя и производным от имён родителей (значения – «прославленный» и «святая»), но звучащим уже по-славянски: Святослав[25].

К значимым работам, специально посвящённым памятнику, следует отнести также небольшую статью Владимира Напольских[26], опубликованную во втором издании русского перевода книги Голба и Прицака. Напольских показывает, что прочтение рунической подписи в письме, предложенное Прицаком, натянута и неверно. Сохранившиеся знаки, по убеждению исследователя, пока не могут быть отнесены ни к одному из известных алфавитов.

V. Новое о «Киевском письме»

В 2010-е годы появились серьёзные работы о Киевском письме, предлагающие новые подходы к документу и заслуживающие специального рассмотрения: обширная статья историка Константина Цукермана (Париж)[27], небольшая, но ёмкая заметка палеографа Семёна Якерсона (Санкт-Петербург)[28] и исследования лингвиста Олега Мудрака (Москва), посвященные новому прочтению рунических памятников Евразии[29]; одна из глав первой из его статей, по-новому освещающей этимологию нееврейских собственных имён в еврейско-хазарских документах, анализирует Киевское письмо.

1) Общее замечание

Два исследователя, Цукерман и Якерсон, независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу относительно статуса памятника: **перед нами не оригинал письма киевской общины единоверцам других городов и стран, а заверенная копия такого письма.** Рассмотрим это их утверждение в начале нашего обзора, чтобы затем перейти к рассмотрению каждой из работ отдельно.

Цукерман следующим образом аргументирует своё утверждение о статусе письма:

«Письмо адресовано «святым общинам, разбросанным по всем уголкам [мира] » (строка 6) ... Послание теряет смысл и ценность, если в нем не обозначена исходная община – как это оказалось бы в том случае, если бы Киев оказался местом назначения Письма, а не местом его исхода. В той интерпретации, что община, членом которой является Мар Яаков, анонимна, весьма неуклюже выглядит вставка специального призыва к общине Киева в круговом письме, содержащем заявление: «мы послали его [Мар Яакова] по святым общинам, чтобы они могли оказать милость ему» (строки 16—17). Можно ли полагать, что Мар Яаков вёз отдельные письма для каждой отдельной общины, которую он собирался посетить, – с призывом о помощи, разжиганным всякий раз заявлением, что только одна эта община и её спонсоры могут рассчитывать на то, что их щедрость будет вознаграждена?»

...Информативной частью текста Письма являются десять подписей тех, кто заверяет его содержание и доброе имя заявителя. Первый среди них, Авраам, сопровождается титулом парнас, лидер общины (строка 25), и я хотел бы подчеркнуть, что такой краткий титул уместен и понятен, если лидерство Авраама признано. Наиболее поразительно, что имя Авраам, как и девять имён после него, выписаны одной и той же рукой – той, что написала большую часть Письма. Но Голб (с. 5—6), отметив эту палеографическую особенность, оставил её без комментариев, что выше моего понимания. У меня же есть этому только одно объяснение. Документ из генизы был не оригиналом, а копией рекомендательного письма, направленного еврейской общиной Киева в поддержку злосчастного Якова. Парадоксальным образом это противоречит поставленной цели: только письмо, содержащее оригинальные подписи, может представлять потенциальным донорам свидетельство доброго имени Якова.

Однако сохранившееся Письмо ни в коем случае не было чисто приватной копией. В последней строчке содержится имя другого парнаса, Ицхака, выписанное иным почерком и иными чернилами. В этой самой строчке содержится ещё одна подпись, начертанная рунами особыми чернилами, много способствовавшая славе Письма... Как и Авраам, парнас Ицхак не нуждался в дополнительном именовании в общине, где был лидером. Это может только озна-

чать, по моему мнению, что каждый парнас обозначил свою подпись в соответствии со своим положением в общине: Аврахам был первым, кто подписал оригинальный документ в Киеве, в то время как Ицхак исполнил заверение его копии в месте, значительно удалённом от Киева, где он возглавлял местную еврейскую общину... оно должно было находиться там, где Письмо было отмечено рунической подписью. Ведь слова, которые показывают юридический статус Письма как копии оригинальной *хамлацы* [30], исходящей из еврейской общины Киева, копии, заверенной руководителем другой еврейской общины, вероятно, для демонстрации его авторитета отмечены рунической подписью в левом нижнем углу» [31].

В дальнейшем Цукерман указывает города, где подпись парнаса Ицхака могла быть подтверждена: «Где-то в пути, возможно в Саркеле или в Итиле, в местной еврейской общине была сделана копия этой *хамлацы*, которая была заверена хазарским чиновником и использовалась как проездной документ» [32].

Обоснование того, что Киевское письмо – копия, а не оригинал, Якерсоном тоже изложено подробно:

«Все имена (кроме последнего, как бы визирующего текст) написаны не самими свидетелями, подтверждающими верность излагаемых событий, а тем же писцом, который написал/переписал (в значении – скопировал) и сам документ. Корпус подобных писем из Каирской генизы, под-

писанных свидетелями, наглядно показывает, что свидетели (даже малограмотные) подписывали документы собственноручно. Данный факт по крайней мере требует какого-либо объяснения» [33].

И далее:

«Документ не подписан самими свидетелями, а их имена написаны писцом, переписавшим основной текст. С моей точки зрения, это говорит о том, что перед нами не оригинал документа (который всегда подписывался самими свидетелями или, по крайней мере, большинством из них), а его копия. Копия подобного документа могла быть снята для архива той общины, в которую поступил запрос. В нашем случае – для архива общины... синагоги Бен Эзры в Фустате (по месту обнаружения). Однако это противоречит логике...: письмо написано „невосточным“ почерком и – главное в данном контексте – явно было тщательно сложено... для перевозки. Складывать документ, который был подготовлен как архивная копия, не было никакой необходимости. Другим объяснением данного явления может являться предположение, что помимо оригинала документа, отправляющемуся в долгий путь просителю вручили также одну или несколько копий. Возможно, для предъявления в различных местах на пути следования. Наша копия была заверена Ицхаком ха-Парнасом <...>, подписавшим документ лично. Если допустить, что перед нами копия (в чем я лично не сомневаюсь), то можно предположить, что было изготовле-

но несколько схожих документов с указанием различных городов по пути следования просителя» [34].

Правда, такие объяснения рождают новые вопросы. Основание для сомнений высказал Цукерман: только оригинальное письмо с подписями гарантов (а не его копия) может свидетельствовать о добром имени Якова перед возможными донорами из отдалённых общин. Якерсон, чтобы снять сомнения, предлагает две гипотезы: 1) копия могла быть изготовлена для хранения в общине, куда поступил запрос (и сам же опровергает её, ибо письмо тщательно складывалось – явно для перевозки); 2) «помимо оригинала документа, отправляющемуся в долгий путь просителю вручили также одну или несколько копий». На мой взгляд, вторая гипотеза столь же неубедительна, как и первая. Киевская община явно небогата, а пергамент дорог. Сам же Якерсон ранее отметил:

«Пергамен, дорогой и прочный материал, использовался для переписки текстов „на века“ – библейских кодексов, галахических компендиумов, молитвенников и литургических сборников. В случае документов – для брачных контрактов и разводных писем. Использование пергамена для частного письма или его копии... встречалось достаточно редко» [35].

Для общины, не слишком состоятельной, изготовление и отсылка одного лишь пергаментного оригинала (без одной или нескольких [!] копий) были нагрузкой.

Кстати, Цукерман (см. выше) метко указал на стилистиче-

ское несоответствие письма ситуации, когда каждой общине, в которую прибывает проситель, вручается специальная копия:

«Можно ли полагать, что Мар Яаков вѣз отдельные письма для каждой отдельной общины, которую он собирался посетить, – с призывом о помощи, разжиганным всякий раз заявлением, что только одна эта община и её спонсоры могут рассчитывать на то, что их щедрость будет вознаграждена?»

Цукерман предложил иное пояснение: подпись *Ицхака ha-парнаса*, заверяющего подлинность копии, дополнительно завизирована хазарским чиновником в Саркеле или Итиле, после чего копия могла использоваться как авторитетный «проездной документ». Почему вероятность появления *Яакова* с письмом в указанных городах более чем сомнительна, будет сказано ниже.

На мой взгляд, существует гораздо более простое объяснение феномена: **Письмо написано образованным человеком, Авраамом ha-парнасом; он подписал его первым. Девять членов киевской общины, чьи имена обозначены после него, были неграмотны, и Авраам им помог, вписав их имена. Второй грамотный человек в группе, Ицхак ha-парнас, подписался сам.**

Мне возражат: известно, что в средние века еврейские мальчики уже поголовно обучались грамоте – и подписаться мог каждый. Более конкретное возражение отлично сформу-

лировано (см. выше) Якерсоном:

«Корпус подобных писем из Каирской генизы, подписанных свидетелями, наглядно показывает, что свидетели (даже малограмотные) подписывали документы собственноручно.»

Но дело-то в том, что в домонгольский период община (эда) Киевской Руси отличалась от других *эдот* – отличалась именно низким уровнем грамотности. Это отмечено не только в X в., но, как можно убедиться, и несколько позже.

Следующий документ из генизы относится к началу XI в. и представляет собой тоже рекомендательное письмо на иврите, но не от общины, а личное. Тувия бен Элиэзер, раввин из города Салоники в Византии, просит своего корреспондента в Иерусалиме оказать помощь достойному еврей, прибывшему «ми-каһал Русия», т.е. от одной из общин Киевской Руси. Этот человек хочет попасть из Салоник в Иерусалим, но у него есть проблема. Достойный еврей не разговаривает ни на иврите, ни на греческом, ни на арабском, единственный его язык – «кнаанит, язык его родины», т.е. славянский. Нужен волонтер, который проведит человека «из города в город, с острова на остров» [36].

Другое свидетельство. Тосафист Элиэзер бен Ицхак из Праги путешествовал по Руси во второй половине XII в. и сообщил в письме Иеһуде Хасиду (1140—1217) в Регенсбург, что в общинах Польши, Руси и Венгрии не хватает знаковок Торы, и там нанимают людей, которые одновременно

исполняют обязанности раввина, учителя и кантора. Бывает, что платить не могут, – и остаются «без учения, без молитвы и без Торы» [37].

Опять-таки могут возразить: в конце XII в. в Киеве известен учёный р. Моше, переписывавшийся с Элизером бен Натаном из Майнца, а также с Шмуэлем бен Али ha-Леви, главой багдадской иешивы. Да и само Киевское письмо составлено очень просвещённым человеком, в прекрасной культурной традиции. Всё так, только яркие исключения не меняют правила: многие евреи Руси жили без учения, без молитв, без Торы. Наблюдение Якерсона, что в других письмах генизы из Фустата рекомандатели почти сплошь подписались лично, хорошо объяснимо: основной поставщик документов генизы – восточные еврейские общины (Эрец-Исраэль, Египет, Халифат, Персия), в которых обязательное обучение мальчиков стало нормой.

Вывод: Киевское письмо – не копия, а оригинал, адекватно отразивший малую образованность местной общины.

Кстати, в общине (*kehila, кагал*) вовсе не обязательно наличие одного-единственного *парнаса*. Полагаю, оба *парнаса*, подписавших письмо, – *Авраам* и *Ицхак* – киевляне.

2) Константин Цукерман о Киевском письме

В начале своей работы профессор Цукерман заявил, что собирается ограничиться лишь двумя важными темами, неудовлетворительно решёнными или проигнорированными

ми предшествующими исследователями: статус Киевского письма (см. выше) и содержание термина *закук*. На деле работа Цукермана охватывает и комментирует почти все темы, обсуждавшиеся предшественниками, и привлекает для решения новые подходы. Она демонстрирует прекрасное умение автора очень глубоко входить в тему и его широкую эрудицию. Это не значит, что он во всём прав.

Попытаюсь представить (иногда с комментариями) наиболее значимые, на мой взгляд, элементы подхода Цукермана к Киевскому письму и к тому, что вокруг письма.

«Я полагаю, – утверждает Цукерман, – так же, как и Прицак, что Киев появился на исходе девятого века в качестве торговой фактории на окраине Хазарского каганата и что он был завоёван Олегом спустя 30—40 лет позднее даты (882 г. н. э.), обозначенной в русской летописи»[38].

(Это, кажется, единственное место в работе, где Цукерман соглашается с Прицаком, но на деле не вполне согласен и здесь: Прицак пытался доказать, что завоевателем Киева был Игорь.)

Далее Цукерман критикует высказанное Эрдалем предположение, что письмо послано в Киев из Дунайской Болгарии, и выражает особое несогласие с истолкованием Даном Шапира (на основе предположения Эрдаля) письма как зашифрованного послания евреев Болгарии киевской общине с просьбой помочь защитить их от преследований князя Святослава[39].

Цукерман обстоятельно входит в споры исследователей о личных именах в письме: иронично отвергает антропонимические построения Прицака, превращающие список подписавших письмо в «миниатюрный перечень тюркских племён»; относительно прочтения <...> как славянского *Гостя* та констатирует: «эта интерпретация неоспорима»; предположение Эрдаля о прозвище <...> («чёрный» по-готски и по-древнескандинавски) отмечает, ибо в Болгарии, которую Эрдадь считает тем местом, откуда ушло Киевское письмо, ни на одном из этих языков не разговаривали. (Здесь позволю себе возразить: так ведь в Киеве, который Цукерману представляется местом отправки письма, правящие варяги по-скандинавски разговаривали-таки!) Зато интересную интерпретацию Орлом того же имени как искажённого из-за перестановки букв слова <...> (слав. «*сирота*») Цукерман не только принимает, но и дополняет собственным текстологическим предположением: там могла быть не перестановка букв, а просто вторая буква в слове – не «вав», а «йуд», эти буквы в средние века часто смешивались [40]. (Мне это не представляется чересчур убедительным: даже в предложенном Цукерманом варианте – <...> без перестановки букв, написание слова искажено, ибо там отсутствует «вав» после «рейш», а он необходим для обозначения звука «о», ведь аканья в древнерусском не было. Интерпретация Орла лучше объясняет отсутствие патронима, здесь Цукерман прав, но и эрдалевская версия, без допущения искажений

в письме, не исключает подобной причины отказа от упоминания отца *Йехуды* с прозвищем *Сварте*, – отцовское имя нежелательно.)

В отличие от Голба и других комментаторов Киевского письма, Цукерман не признаёт, что иудаизм Хазарского каганата был строго раввинистическим, полагая, – есть основания для сомнений[41].

Большое место в исследовании Цукермана занимает полемика автора с известной книгой Шломо Занда «Кто и когда придумал еврейский народ?». Эта полемика сама по себе интересна и верна, но я её пропущу, ибо к Киевскому письму она отношения не имеет. Разве что небольшой отрывок косвенно затрагивает тему, близкую письму:

«Хазарские евреи не имели ни малейшего демографического потенциала обеспечить на исходе 13-го века миграционную волну в ... [западном] направлении, о которой повествует Занд. На своей территории после 960-х иные из них вынуждены были принять ислам, в то время как те, кто смог, вероятно, внесли демографический вклад в немногочисленные славяноязычные общины Восточной Европы, однако эта скудная еврейская популяция после удара, нанесенного монгольским вторжением, исчезла ещё до прихода мигрантов-ашкеназов.»[42]

Мне очень близко всё, что утверждает здесь Цукерман, кроме заключительного аккорда о полном исчезновении общины евреев-кенаанитов после монгольского нашествия.

На самом деле эта *эда* только к XVII в. окончательно растворилась в среде ашкеназов (значительную часть которых, если не большинство, в Восточной Европе составляли ашкенизированные западные кенааниты [43]). Помимо того, остатки евреев Хазарии и некоторые восточные кенааниты могли после монгольского нашествия положить начало татароязычной еврейской общине в Крыму (разделившейся на крымчаков и караимов) – ведь самые ранние захоронения на иудейских кладбищах в Мангупе и Чуфут-Кале относятся к XIV – XV в., после татарского завоевания [44]. (Возможно, часть этих евреев пришла в Крым как пленники в обозах завоевателей.) Ну, и некоторая доля хазарских иудеев, видимо, вошла в *эду* горских евреев, сохранившую до XXI в. личное имя Ханука, зафиксированное, помимо Киевского письма, также в письме царя Иосифа как имя хазарских царей.

Один из самых впечатляющих разделов работы Цукермана посвящён детальнейшему разбору содержания термина *закук* (мн. ч. *зекуким*), – обозначения денежной единицы. Цукерман категорически отвергает голбово отождествление *закука* с золотым византийским *триенсом*: нет никаких свидетельств, что *триенс* (по стоимости – треть полновесного *солида*) когда-либо был в ходу на Руси, да и в самой Византии он вряд ли был средством платежа [45].

Термин *закук* первоначально означал один из способов очистки металла, а с XII в. применялся к обозначению германской марки чистого серебра. Только с XIV в. он стал

обозначать монету, а ранее использовался для обозначения в брачном контракте суммы, которую жених обязан выплатить жене в случае развода. И то, и другое, и третье, и четвертое – исключительно в Европе, в пределах земель, вошедших в состав Каролингской империи [46]. Самое раннее (но, видимо, позже Киевского письма) упоминание слова *закук* относится к концу X – началу XI в. и принадлежит рабби Гершому, прозванному Светочем изгнания. В его высказывании *закук* означает слиток серебра, и вес слитка определен в 12 унций [47].

Константин Цукерман скрупулезно разбирает изменение значения термина и колебания весовых параметров *закука*. Попутно выявляются детали реформаторской активности духовных вождей ашкеназских евреев, семейного быта этих евреев и уровня их материального благополучия. Если верить материалам респонсов [48], до Крестовых походов этот уровень очень высок, что может служить основанием для предположения: авторы Киевского письма именно в общинах германских земель видели доноров для пострадавшего *Якова*. Цукерман утверждает, что термин *закук*, не известный вообще еврейским общинам Азии и Африки, делает именно Рейн, а не Нил, предполагавшимся конечным пунктом письма [49].

В связи с этим утверждением Цукерман выдвигает свою датировку Киевского письма. Очень мало известно о торговых связях Киевской Руси с государством Каролингов, да

и политические связи между христианским Западом и языческой Русью отсутствовали, за исключением одного, очень короткого, периода, – после принятия христианства княгиней Ольгой.

«Посольство княгини Ольги в 959 г. попросило короля (будущего императора) Оттона I направить епископа и священников для распространения христианства на Руси... Епископ Адальберт – один – был послан в Киев ранней весной 961 г., но он поспешно возвратился в этом же или в следующем году вместе с несколькими обращёнными, едва не лишившись жизни. Большинство исследователей объясняют такое драматическое поворотное событие переменой власти в Киеве» [50]: Ольга умерла, и княжеский престол занял воинствующий язычник Святослав.

«Вряд ли будет смелым предположение, что дипломатическое сближение между Русью и Германией сопровождалось – может быть, и предшествовало ему, – установлением связей между еврейскими общинами обеих стран. В этот период естественным было бы обращение евреев Киева за помощью к богатым единоверцам на Рейне. После фиаско Адальберта в 961-м или 962-м, наоборот, нехотало было киевским евреям обращаться за помощью в империю Каролингов. К тому времени, накануне хазарской кампании Святослава, состоявшейся позднее в том же десятилетии, путь на запад был почти полностью закрыт. Потому, я думаю, Мар Яаков, – который не мог оставаться в Киеве

и продолжать встречаться со своими неудовлетворёнными кредиторами, – и предпринял свое дорогостоящее и рискованное путешествие» [51].

По Цукерману, *Яков* отправился за помощью к еврейским общинам Хазарии, и там – в Саркеле или Итиле – письмо было помечено визой хазарского чиновника. Здесь позволю себе решительно не согласиться. При княжении Святослава путь в Хазарию (вплоть до войны с нею и её разгрома) был перекрыт точно так же, как в Германию, если не строже. (Ср. приведенное выше высказывание проф. А. Тортики.) Открыт был путь «из варяг в греки», который контролировала Русь; *Яков* отправился этим путём – только потому письмо, написанное в Киеве в начале 960-х и ориентированное, по первому замыслу, на запад, в Эрец-Немец (так именуется Германия в письме царя Иосифа), оказалось в Каирской генизе.

Так или иначе, тщательно проведенный Цукерманом анализ термина *закук* показывает, что весовая мера чистого серебра в ашкеназской общине X в. составляла приблизительно 12 унций, и, с этой точки зрения, долг *Якова* иноверцам был представлен в письме, адресованном евреям-ашкеназам, более чем внушительной суммой – 30 кг серебра [52]. Однако отправители Киевского письма термином *закук*, вероятнее всего, обозначили местную весовую единицу серебра – *гривну*, и Цукерман столь же добросовестно и подробно рассматривает историю *гривны* и её количественных па-

раметров в Новгородском и Киевском (попутно и в Черниговском) княжествах. Помимо того, тщательно исследуются обменные курсы принятых на Руси денежных единиц соседних государств: Халифата, Византии, скандинавских королевств, рассматриваются взаимоотношения *гривны* и других денежных единиц Руси – *ногаты* и *куны*. Исследование проф. Цукермана основательно выходит за рамки поставленной им темы, однако относительно долга *Якова* — 100 *закук*ов – он даёт чёткое определение: «Приравнивая его [*закук* – А. Т.] к *гривне*, приходим к стоимости долга примерно в 4 кг серебра, эквивалентно примерно 1400 *дирхем*ам или, в частности, в период договоров [Руси] с Византией, 100 *солидам*»[53]. Таким образом, опираясь на хорошую доказательную базу, исследователь подтверждает высказывавшееся и ранее мнение, что *Якову* надлежало возместить кредиторам брата не скромные 100 серебряных *дирхем*ов, а серьёзную сумму в 100 полновесных золотых монет. Такая сумма вполне оправдывает тревогу авторов письма – сограждан *Якова* – и их призыв к зарубежным единоверцам о помощи...

3) Семён Якерсон о Киевском письме

Мне выпала честь быть одним из трёх редакторов сборника «Кенааниты: Евреи в средневековом славянском мире» (24-й т. «Jews and Slavs»), в котором опубликована статья Якерсона под скромным названием «Несколько палеографических ремарок к датировке „Киевского письма“».

Нас, редакцию сборника, смущало брошенное вскользь замечание акад. Петра Толочко, что в подлинности Киевского письма «нет полной уверенности» (см. выше). Хотя академик не является ни коей мере специалистом в области еврейской палеографии, и его «сомнение» – просто отражение общей предвзятости к памятнику (более никто подделку не заподозрил; ср. выше мнение проф. Пузанова), мы решили предложить проф. Якерсону, одному из ведущих в мире палеографов-гебраистов, заново исследовать, верно ли идентифицировал Голб подлинность и древность письма. Работу Якерсона финансировал Евроазиатский еврейский конгресс.

Проведенное исследование петербургский учёный согласовал с шестью компетентными коллегами в Оксфорде, Кембридже, Париже и Иерусалиме. Участие в «палеографических ремарках» столь мощной экспертной группы создает новый, более достоверный, фон для истолкования данных Киевского письма. Сам автор «ремарок» не ограничился чистой палеографией и представил собственные, очень интересные, соображения вокруг истории создания памятника. (См. выше раздел «Общее замечание».) Они не столь бесспорны, как заключения палеографической группы, которые тоже, как принято в науке, подлежат обсуждению. Чем и займемся.

а) Локализация памятника

Эпиграфом к «Палеографическим ремаркам» С. Якерсон избрал еврейскую поговорку, которая на русский переводит-

ся «Приучи свой язык говорить „не знаю“»[54]. В эпиграфе содержится упрек толкователям Киевского письма (не только Н. Голбу и О. Прицаку), приходящим к безапелляционным выводам без достаточно твердых оснований. Одним из таких выводов является обозначение памятника как «Киевское письмо». На самом ли деле оно Киевское?

«Прочтение самого географического названия требует определенного «предвзятого желания», т.к. первая буква в нем сегодня (как и в период обнаружения документа) не читается (она попадает на изгиб и пятно на пергамене и практически не видна). Корректнее передавать это слово транслитерацией <...>»[55].

Замечание уважаемых палеографов хоть в принципе и справедливо, отнюдь не вовсе бесспорно. Первую букву слова действительно прочесть в рукописи невозможно. Н. Голб предположил, что апостроф левее последней буквы «бет» означал спирантность её произношения («в», а не «б»), стало быть, слово без первой буквы было прочитано «...ийов» (или «...ийув»). Попытавшись подставить какую-либо букву на первое место в слове, Голб легко убедился, что нечитаемой буквой была «куф», и слово читается «Кийов» (с чем согласились оппоненты). В данной статье С. Якерсон показал: апостроф не обозначает в письме спирантность, а указывает, что предшествующее слово – географическое название[56]; значит, слово без первой буквы (географическое название!) может читаться и «...ийов», и «...ий-

об», – многое ли это меняет? Осторожное примечание автора («Я не утверждаю, что прочтение данного топонима как Киев невозможно, но хочу подчеркнуть, что оно неочевидно»[57]) меня не убедило. Никакой средневековый европейский (см. ниже) город, кроме Киева, вписывающийся в представленную – хоть Н. Голбом, хоть С. Якерсоном, – лексическую модель, мне не известен[58]. Но главное – **еврейский антропонимикон документа очень точно привязывает письмо если не к Киеву, то уж наверняка к Киевской Руси**. Например, крайне редкие в Средние века личные имена «подписантов» Киевского письма Шимшон <...> и Синай <...> (с. 28) присутствуют также в документе XII в. из Владимира (Владимир-Волынский; Парижская рукопись 380 из Национальной библиотеки в Иерусалиме, см. А. Кулик. «Евреи Древней Руси: источники и историческая реконструкция» // *Ruthenica*, vol. VII, p. 58); кроме того, имя Синай упоминает также р. Ашер бен Иехиэль Рош из Толедо (1250—1327) в качестве патронима его ученика (Ашер бен Синай), который приехал к нему учиться из страны Русия (там же).

Я убежден: **нет никаких оснований ревизовать локализацию Киевского письма**. Никто ведь не предписывает историкам непременно указывать: вероятность того, что «географическое название» обозначает именно Киев, составляет не 100%, а всего лишь 99%...

б) Датировка

В книге О. Прицака и Н. Голба время написания Киевского письма определено «около 930 г.». Эту дату обозначил О. Прицак на основании своих очень спорных исторических построений **при молчаливом согласии соавтора, хорошего знатока еврейской палеографии**. Поэтому те, кто отверг исторические посылы О. Прицака, приняли для себя «более широкую датировку: X в.» (В. Я. Петрухин. Комментарий к книге «Хазарско-еврейские документы X века», с. 215). Когда в текстах исторических сочинений С. Якерсон видит ссылки на «Киевское письмо, по данным палеографии датирующееся X веком», это вызывает его активный протест[59]. Профессора можно понять, никаких ссылок именно на ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ данные, позволяющие отнести памятник к X в., у историков нет.

Тщательный анализ, проведённый ведущими мировыми специалистами, выявил основы для определения возможного времени написания Киевского письма.

Во-первых, физический носитель, на котором оно написано.

«Использование пергамента и запись текста на мясной стороне косвенно свидетельствуют с достаточно большой долей вероятности о том, что перед нами документ раннего периода генизы (т.е. по XII век включительно).» [60] [Уместно напомнить, что самые ранние документы Каирской генизы относятся к IX в., – А. Т.]

Во-вторых, графика и почерк. «Данное письмо, вероят-

но, можно охарактеризовать как письмо стадии формирования **европейского** [выделено мною, – А. Т.] квадратного письма и назвать „протоквадратным“ письмом» [61].

В-третьих, дополнительные графические элементы: апостроф, надстрочные точки и разделитель имен собственных. Последний оказался важным определителем времени и места создания памятника. «Графические разделители имен свидетелей не встретились мне ни в одном из многочисленных фрагментов генизы, с которыми я сличал наше письмо. Подобные значки в качестве элементов графического заполнения строк можно встретить в **европейских** [выделено мною, – А. Т.] рукописях позднее, начиная с XI—XII веков и далее.

Таким образом, можно отметить, что с одной стороны, архаичность письма и невозможность его однозначной идентификации («протоквадратное письмо», возможно, византийского типа) говорят о древности документа, но, с другой стороны, употребление графических элементов, характерных для более поздних рукописей (XI – XII в.), вызывает к двойной осторожности в определении периода его создания» [62].

«Общий вывод: На современном этапе развития еврейской палеографии и кодикологии у нас нет ни малейшего основания датировать документ из Каирской генизы, хранящийся в библиотеке Кембриджа под шифром T-S (Glass) 12. 122, именно X веком, локализовать его городом Киевом

и рассматривать его как косвенно датированное по палеографическим признакам историческое свидетельство. Тем не менее, нет сомнения в том, что перед нами достаточно ранний документ европейского происхождения [sic! – А. Т.], относящийся к первому этапу формирования Каирской генизы (по XII в. включительно)»[63].

Моё мнение относительно локализации письма см. выше. Что же касается датировки Киевского письма, – я уверен, что историки с должным уважением отнесутся к аргументации и выводам профессора Якерсона и сообщества палеографов и примут положение: **Киевское письмо – по палеографическим данным – написано в пределах X—XII вв.**

Однако и по части датировки памятника экспертами нельзя обойтись вовсе без замечаний. Как видим, автор «ремарок» несколько раз старательно указывает самый поздний предел возможного времени написания письма – «по XII в. включительно», но очень тщательно избегает указать его раннюю границу. И только поскольку в анализе имеется словосочетание «более поздние рукописи (XI-XII вв.)», можно понять, что существование «более ранних» предполагается в X в. Или даже в IX? Во всяком случае, **историки школы П. Толочко отныне никак не могут оперировать аргументом, что Киевское письмо, возможно, является поздней подделкой.**

Десятый век как время написания письма хотя чётко не подтверждён сообществом экспертов, но вовсе и не опро-

вергнут. Более того, один из экспертов (д-р Эдна Энгель из Иерусалима) «считает, что с определённой долей осторожности документ можно датировать первой половиной X века» [64]. Остальные, включая Якерсона, по-видимому, полагают более вероятным периодом XI—XII вв. Время покажет, кто из них прав. Отчётливые следы хазарского культурного влияния на еврейскую общину Киева (например, совпадение антропонимикона общины с еврейскими именами хазарских царей), по-моему, указывают на более ранний период: Хазария пала под натиском Руси с запада и огузов с востока в 60-е годы X в.

4) Олег Мудрак о Киевском письме

Московский лингвист, специалист по сравнительно-историческому языкознанию, тюрколог и знаток языков Северного Кавказа проф. Мудрак недавно обосновал мнение, что все рунические надписи Хазарии на камнях, монетах и памятниках из других материалов сделаны на старом осетинском языке с отражением характерных черт, присущих современному дигорскому диалекту (языку) [65]. Дана фонетическая интерпретация знаков восточноевропейского рунического письма. Насколько знаю, открытие не вызвало прямых опровержений. Два квалифицированных специалиста, оппонировавшие Мудраку в том же номере «Хазарского альманаха», – лингвист И. Пейрос и специалист по тюркской рунике В. Тишин – ограничиваются замечаниями в духе общего скептицизма.

Один из выводов Мудрака: нееврейская лексика еврейско-хазарских документов может восходить к языкам народов Северного Кавказа. Поддержанный Петрухиным, Мудрак опубликовал в 14-м номере «Хазарского альманаха» своё исследование, включающее истолкование ряда лексем из письма царя Иосифа, Кембриджского документа и Киевского письма (в основном на основе осетинского материала), – «Заметки по иноязычной лексике хазарско-еврейских документов». Первая глава работы называется «Хазарские личные имена в Киевском письме» [66].

Мне кажется очень интересной попытка истолковать имена подписавших еврейское письмо на основе осетинского, ведь осетины, как считается, – потомки аланов, которые приходились хазарам ближайшими соседями и – очень часто – согражданами. По сообщению анонимного автора документа Шехтера, некоторые аланы исповедовали иудаизм (с. 132, 136, 140, 146). Косвенно это сообщение, возможно, подтверждается тем фактом, что некоторые употребительные лексемы осетинского языка (и именно дигорского диалекта) заимствованы из иврита: *kädzos* («святой», <...>), *xädzar* («сакля» от евр. <...> «комната») и др. [67]. Дополнительным подтверждением (правда, спорным) может служить летописное сообщение, что ключник суздальского князя Андрея Боголюбского, Амбал, «по происхождению ясин», т.е. алан, принявший в 1175 г. участие в заговоре против князя и его убийстве, был назван его собеседником «жидови-

ном»[68]. Об иудаизме у аланов имеется содержательная работа проф. О. Б. Бубенка (Украина)[69].

а) Интерпретация нееврейских имён Киевского письма

Имени כִּיבָר Мудрак находит несколько соответствий в осетинском; наиболее вероятным ему кажется слово из дигорского диалекта *qebur* «старенький, дряхлый (о человеке)»[70].

Выше я упоминал, что иначе, чем Голб, делю строку 26 Киевского письма на слова, и имени *Кибар* в строке не вижу, а вижу имя *Кый* (от слав. «палка») и далее отдельно «бар». Тем не менее, служа истине, а не амбициям, скажу в пользу толкования Мудрака, что имя со значением «старенький, дряхлый» хорошо вписывается в группу «охранных» еврейского антропонимикона. Такие дополнительные имена родители и другие родственники давали в случае серьёзной болезни ребёнка или взрослого. У ашкеназов нередки имена этой группы: *Зейде* (м., от западнослав. *дзяд* со значением «дед»)[71], *Бабе* или *Бебе* (ж., от слав. *баба* «бабушка»), *Алтер* («старый», идиш), *Алте* («старая», идиш); в такие имена вкладывалось пожелание долголетия.

Прозвище <...> исследователь интерпретирует дигорским <...> «утренняя роса (крупные капельки)», толкуя как обозначение сильно потеющего человека[72]. Не отвергая такой интерпретации, полагаю: убедительнее гипотеза Эрдаля, что прозвище читается *swartä* и переводится с древне-

скандинавского «чёрный». Гипотеза Эрдаля представляет менее вычурную модель наречения прозвищем, да и присутствие носителей скандинавского языка в Киеве X века несомненно[73].

Имя <...> Мудрак истолковывает на основе среднедигорского <...> «жалоба». «Т.е. прозвище по характерным поступкам, ср. аналогичные польск. и вост.-слав. фамилии Жалоба, Жалобицкий, Жалобкевич»[74]. По отношению к принятой интерпретации имени как восточнославянского *Гостята* исследователь критичен: «(сын гостя?, гостенок?). Представляется довольно странным, что это имя, отмеченное в др.-рус. памятниках, упоминается лишь по отношению к женщине. В данном списке подписавшихся женщин не могло быть»[75].

Не могу не возразить. *Гостята* – деминутив от славянского нормативного личного имени *Гость* (в смысле «купец»), которое могло быть дано ребёнку в качестве пожелания родителей относительно его будущей профессии или статуса. Деминутив нередко оставался с человеком на всю жизнь, в летописях немало персонажей с именами *Жирята*, *Путята* и т. п. Истолкования с вопросительными знаками здесь ни при чём. Утверждение же, что *Гостята* в древнерусских памятниках упоминается лишь по отношению к женщине, попросту неверно. Это имя принадлежит в берестяных грамотах Новгорода четырём разным персонажам, и только один из них, вероятно, женщина.

Имя <...> истолковано исследователем на основе иронского диалекта осетинского языка *minas* «угощение (подарок гостю), пиршество». Прозвище из значения «хлебосольный, хлебосол» или «праздник»[76].

К имени <...> Мудрак даёт несколько, как он говорит, «неуверенных вариантов». На первом месте – толкование из западнокавказского (адыгского) языка **totur* «мир, спокойствие, тишина»[77].

Выход за пределы осетинского языка, на мой взгляд, проблематичен. Однако в пользу такой интерпретации имени напомним, что оно соответствует семантике распространенного ивритского имени <...> (*Шалом*, в ашкеназ. произношении *Шолем*), впервые появившегося в позднем средневековье.

(Представляет интерес, что антропоним Манар используется на Северном Кавказе донныне. Так, советский космонавт Муса Хираманович Манаров, род. в 1951 г., по национальности лакец, несёт это слово в составе своей фамилии. Кто-то из его предков по отцовской линии три-четыре поколения назад носил личное имя Манар.)

Имя <...> истолковано Мудраком несколькими вариантами, из которых самым удачным он полагает экспрессивное прозвище от дигорского *qob*: «короб, коробка» (с редким, но существующим аффиксом отыменного прилагательного — *in*)[78].

Подводя итог антропонимическим реконструкциям учё-

ного по Киевскому письму, отмечу, что, при некоторых правдоподобных построениях, не все из них представляются убедительными. Ещё более спорна топонимическая гипотеза Мудрака, что название города Киев (<...>) может восходить к этнониму qijawú — «горный чеченец» на андийском (один из дагестанских языков) [79]. Верно, что и этноним, и язык – коренные на Северном Кавказе. Верно, что Северный Кавказ – родина раннего Хазарского каганата. Возможно, Киев основан хазарами. Далее требуется чересчур много допущений, чтобы связать эти предпосылки в один узел...

Попытка расшифровать «хазарскую» руническую надпись была, несомненно, много более успешной.

б) Расшифровка рунической надписи Мудраком, и что из этой расшифровки следует

Олег Мудрак прочёл руническое слово в левом нижнем углу Киевского письма как *aRuəzənjəg* на осетинском языке, его перевод – «следует разрешить». В двух основных диалектах осетинского – дигорском и иронском – слово представляет причастие будущего времени (дубитатив) [80].

Насколько мне известно, такое прочтение и перевод пока не вызвали серьёзных возражений ни специалистов по рунам, ни знатоков языка. Если прочтение не будет опровергнуто и перевод правилен, тогда это означает одно из двух:

а. Окажется верным не поддержанное сообществом историков утверждение Прицака, что в начале X века власть в Киеве принадлежала хазарам. Письмо завизировал ха-

зарский чиновник (наместник? таможенный инспектор?) на аланском языке.

б. Если же правы те, кто не соглашается с Прицаком (см. выше опровержение проф. Тортикой самой возможности возникновения изложенной в письме ситуации при власти хазар), и Киевское письмо написано и отправлено, когда правили Рюриковичи, тогда резолюция на аланском языке появилась не в Киеве, а при посещении *Яаковом* территории бывшего каганата, сохранившей какие-то структуры прежнего управления. Такое могло произойти, например, если посланник киевской общины, двигаясь по «пути из варяг в греки», выйдя из устья Днепра, повернул не на юго-запад, а на восток, к евреям Тмутаракани. Под чьим бы управлением ни находился в то время город (номинально – под властью русского князя), *Яаков* получил разрешение местного чиновника на сбор пожертвований. Собранная сумма оказалась, по-видимому, недостаточной, или тмутараканские евреи вообще отказались жертвовать, и *Яакову* пришлось продолжить путь «в греки».

Второй вариант кажется мне правдоподобнее первого.

в) Альтернативное истолкование рунической надписи

Однако обе версии – я убеждён! – несут в себе логическое противоречие. Дело в том, что при истолковании надписи у исследователя было неосознанное «предвзятое желание» искать вслед за Прицаком разрешающую резолюцию чинов-

ника. (Это при том, что прицаковскую интерпретацию слова – *hoquriim* ‘ [Я прочёл это] ’ – Мудрак отверг). Он и нашёл то, что искалось: «Следует разрешить».

Только, если ясно, что Прицак ошибся в прочтении слова, не следует ли попробовать понять слово, написанное руническими знаками, как-нибудь иначе, чем Прицак? Слово стоит в письме после имён 11 членов еврейской общины. Не представляет ли оно, скорее, имя двенадцатого из них – прозелита-алана? Это менее романтично, чем резолюция. Зато много правдоподобнее.

С таким вот собственным, вполне осознанным, «предвзятым желанием» я без особых надежд попытался перевести то же руническое слово *aRuəzənjæg* с того же осетинского, но не так, как это сделал уважаемый О. Мудрак. Неожиданно получилось.

Правилен ли перевод «Следует разрешить»? Как указывает проф. Мудрак, *aRuəzənjæg* является причастием будущего времени от глагола со значением «опустить, допустить; позволить; ниспослать» [81]. В таком случае вполне допустим и такой перевод слова на русский: «Будет разрешено». А если принять во внимание другие оттенки значения того же глагола, можно перевести и так: «Будет позволено [ему]» или «Будет ниспослано [ему]». **Тогда слово вполне может оказаться личным именем, в котором выражено заветное пожелание родителей новорожденному ребенку, не раскрываемое ими до конца (возможно, из мистиче-**

ских соображений).

Представляю свою интерпретацию «хазарской» приписки к Киевскому письму: **aRuэзэnjэг (Аруэдженег; пер. «будет ниспослано [ему] – имя члена Киевской еврейской общины, одного из двенадцати, подписавших рекомендацию своему земляку, собиравшему благотворительные пожертвования за границей (Киевское письмо, X в.), вероятно, алана-прозелита.**

На мой взгляд, она лучше интерпретации, которую предложил проф. Мудрак, хотя бы тем, что исключает из толкования мифическую резолюцию мифического чиновника – плоды фантазии талантливого Прицака. Переписка о благотворительных пожертвованиях была в Средние века сугубо делом еврейских общин (в отличие от более поздних времён – скажем, XIX—XX вв.) и не сопровождалась формальными разрешительными резолюциями властей предрежащих. Помимо того, разрешительной резолюции чиновника более соответствовала бы грамматическая форма глагола в повелительном наклонении (или, допустим, в инфинитиве). Форма же причастия будущего времени больше годится для выражения доброго пожелания, благословения, проклятия или пророчества.

Если моя интерпретация верна, то очень вероятно: алан, автор приписки – иудей не в первом поколении. **Модель наречения аланским именем выглядит здесь очень по-еврейски:**

1) В традиционных именах могут использоваться глагольные формы будущего времени, например, *Ицхак* («он будет смеяться»).

2) В теофорном имени при этом Бог может быть назван или «скрыт»: *Иехезкель* («усилит Бог»), *Иерахмиэль* («помилует меня Бог»), *Ирмеяһу* («возвеличит Господь»), но *Иосеф* («прибавит» или «умножит»).

3) Встречаются имена и в форме причастия будущего времени, например, *Иерухам* («[он] будет помилован»). Может быть, *Аруэдженег* и является калькой с *Иерухам*.

В любом случае – руническое слово в Киевском письме разобрал и прочитал именно Мудрак, его работа над расшифровкой была плодотворной и результативной.

5) «Киевское письмо» сегодня. Выводы и субъективные заметки

Киевское письмо – выдающийся документ. Что произошло за 37 лет непрерывного и многократно-независимого изучения открытия Нормана Голба? Подтверждена большая ценность письма в качестве свидетельства «темного периода» как истории евреев Восточной Европы, так и бедного памятниками домонгольского отрезка истории Киевской Руси. Твёрдо установлена древность Киевского письма – опровергнуто мнение о его «подделке». Стабильность интерпретации текста при многообразии и альтернативности подходов и большая «устойчивость» памятника к доброжелатель-

ной и недоброжелательной критике – сам по себе удивительный научный феномен.

Киевское письмо уникально свидетельствует о столице Древней Руси как о полиэтническом городе, рассказывает о непростых проблемах жизни иудейской общины на востоке Европы, даёт ценный материал для обсуждения истории Хазарии. Исследования показали значимость письма для уяснения, как функционировала правовая система в городе...

Изыскания и споры вокруг письма, конечно же, будут продолжены. Что касается датировки – не исключаю, могут быть выдвинуты версии, привязывающие события, отраженные в письме, к фактам истории Киева более позднего времени, чем те, что обсуждались прежде. Сегодня мне представляется весьма достоверной датировка, предложенная Цукерманом, – в пределах 960—962 гг.

Поделюсь собственным (несомненно, спорным) видением жизни иудейской общины города в середине X в., как её рисует Киевское письмо.

Община невелика: количество мужчин едва превышает *миньян*[\[82\]](#). Вероятно, все они без исключения согласились поставить под письмом свои подписи: трое сделали это лично и девять – с помощью одного из двух *парнасов* общины. Один из трёх грамотных (подписался последним) воспользовался руникой своего родного языка – аланского.

В полиэтническом Киеве члены маленькой и не слишком образованной общины используют несколько языков. Под-

писанное ими письмо исполнено на изысканном иврите. Но на этом языке абсолютное большинство членов общины между собой не общается. По всей видимости, разговорным её языком является славянский. Во-первых, это язык большинства населения города. Во-вторых, по свидетельству Тувии бен Элиэзера (о нём см. выше), единственным языком известного ему еврея «из общины Руси» в начале XI в. был славянский, «язык его родины». В-третьих, некоторые из подписавших письмо (напр., *Гостята*) носят славянские имена, что является свидетельством их аккультурации. Оказионально киевские евреи пользуются словами из языка варяжских завоевателей города – так, скандинавским по происхождению является прозвище *Сварте* одного из них, *Йеһуды*. Некоторые члены общины наверняка разговаривают по-алански (наиболее характерный пример – *Ару-эдженег*, подписавшийся рунами родного языка. Надо полагать, аланоязычные иудеи – прозелиты или потомки прозелитов). И, наконец, не исключено, что мы застаём в Киеве X в. и носителя идиша – языка, только-только зарождавшегося на берегах Рейна. Об этом человеке стоит поговорить отдельно.

Поразительна фигура автора текста письма – *Авраһама һа-парнаса*. Это, прежде всего, человек большой культуры. Рекомендательное письмо на иврите *Авраһам* начинается в высоком стиле, рифмованным текстом (в трёх первых строках – семь рифмующихся слов, с. 24), не свойственным жан-

ру. Искушённый в чтении документов генизы Голб удивился: «В стремлении автора дать тексту рифмованное начало есть что-то непонятное» (с. 24.) Думаю, ответ находится в строках 22—23 письма: «И не бросайте слова наши себе за спину...» (с. 28, 31). Применён ораторский приём, свойственный более устной проповеди, чем письменному тексту: стремление с самого начала поразить слушателя (читателя) необычной формой и завладеть его вниманием – для дальнейшего изложения. Не сомневаюсь, *Аврахам* имел опыт и талант общения с аудиторией.

Обнаружив, что строки с теми же рифмами, что в письме, трижды были использованы в литургических стихотворениях Элиэзера Калира (Эрец-Исраэль, VI – VII в. н. э.), Голб определил: «Автор письма был знаком с... поэзией Калира» (с. 24, 30). Хорошее знакомство *Аврахама ханпарнаса* с раввинистической литературой обнаруживается в нескольких местах текста.

Когда *Аврахам* переходит к «деловой части» письма (строки 7—17), он сух и немногословен, но очень точен. И только в заключительных строках (17—24) возвращается к высокому стилю и эмоционально окрашенной лексике. Хороший стилист!

Принимая находку Цукермана, что автор Киевского письма в качестве адресата имел в виду очень богатые общины на Рейне, легко можно понять фразу в строках 6—7 письма «Да будет воля Владыки мира дать им возможность жить,

как корона мира» (с. 25), которая для Голба осталась тёмной: «Точный смысл сравнения неуловим» (с.25).

Похоже, *Аврахам ha-парнас* сам **был родом из какого-то германского города** (использовал термин *закук*, в других общинах не известный, да и писал «невосточным» почерком), хорошо знал жизненный уклад тамошних евреев и – позволю себе предположить – не без лукавства составил письмо так, чтобы на Рейне истолковали: долг Якова составляет громадную сумму – 30 кг серебра (на самом деле в шесть с половиной раз меньше), это могло побудить читателей к большей щедрости. При этом лжи в письме нет, сумма долга точно обозначена в местных единицах, иностранцам не знакомых.

Не вызывает сомнения, этот человек был духовным лидером маленькой общины и одним из двух её руководителей (наряду с *Ицхаком*). Из текста письма явствует, что ранее *парнасом* киевской общины был и пострадавший *Яков* (возможно, и не названный по имени его брат, убитый разбойниками). *Аврахаму* очень хотелось восполнить истощившуюся после выкупа *Якова* из заключения общинную кассу. К сожалению, это не удалось.

Находка Киевского письма в материалах из Каирской генизы скорее всего означает, что жизненный путь *Якова* завершился в Фустате, и Киева он больше не увидел. Абсолютно невероятно оптимистическое предположение Голба, что «собранные [*Яковом*] деньги всё же были посланы ев-

рейскими общинами по его маршруту авторам письма в Киеве» (с. 23). Путешествие *Яакова* из Киева в Египет было уникальным, его никто в обратную сторону не мог проделать и не проделал. Небогатой общине пришлось отдавать заимодавцам-иноверцам злосчастные 40 золотых *солидов*.

(Достойно сожаления, что зафиксированное памятником трагическое путешествие Яакова бен рабби Ханука не заинтересовало до сих пор никого из писателей или киносценаристов...)

Завершая обзор, рискну предложить уже третий вариант прочтения 26-й строки Киевского письма: *Гостята бен рабби Кый Баркаһан* – <...>.

В таком прочтении слово после имени *Гостята* является принятой аббревиатурой «бен рабби» («сын почтенного»), а *Баркаһан* – прозвище *Кыя*, отца *Гостяты*. Прозвище обозначает человека, являющегося потомком коһенов и с отцовской, и с материнской стороны. Такое прозвище (ставшее фамилией Баркан) известно с XVI в. [83], но можно предположить его давние корни...

Несмотря на открытия последних лет, памятник всё ещё остаётся не до конца понятым. Киевское письмо ждёт новых подходов и новых исследователей.

Иерусалим

Примечания

[1] Вариант этой работы публикуется в «Хазарском альманахе», т 16 (Москва, 2019). Выражаю глубокую благодар-

ность Александру Бейдеру (Париж), Питеру Голдену (Уэст Уиндзор), Людмиле Евстифеевой (Москва), Игорю Крупнику (Вашингтон), Олегу Мудраку (Москва), Рахели Торпусман (Иерусалим), Артёму Федорчуку (Кфар-Эльдад) и Михаилу Членову (Москва), ознакомившимся с ранними вариантами этой работы и сделавшим ценные замечания.

[2] Гениза – место хранения ставших ненужными или неактуальными текстов, содержащих имя или эпитет Бога (их уничтожение запрещено иудейскими религиозными нормами). Каирская гениза – крупнейший архив средневекового еврейства, сохранившийся в синагоге г. Фустат (ныне в пределах Каира).

[3] Все ссылки на книгу – по второму русскому изданию.

[4] P. B. Golden. A New Discovery: Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century // *Harvard Ukrainian Studies*, VIII. №3—4, 1984. P. 474—486.

[5] Ibid. P. 476. (Пер. с англ. здесь и далее мой – А. Т.)

[6] Ibid. P. 477.

[7] S. Schwarzfuchs. Review of Golb, Pritsak (as above) // *Revue de l'histoire des religions* 201, 1984. Pp. 432—434.

[8] А. Н. Торпусман. Антропонимия и межэтнические контакты народов Восточной Европы в средние века. I. Имя Гостята в еврейской рукописи из Киева первой половины X века // *Имя – этнос – история*. М.: АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1989. С. 48—53. См. также A. Torpusman. Slavic names in a Kiev manuscript from the first

half of the 10th century // *These Are the Names: Studies in Jewish Onomastics*. Vol. 2. Ramat-Gan, 1999. Pp. 171—175.

[9] В. Орел. О славянских именах в еврейско-хазарском письме из Киева // *Palaeoslavica* 5, 1997. P. 335—338.

[10] И. Л. Кызласов. Рунические письменности евразийских степей. М., 1994. С. 34. См. также И. Л. Кызласов. Древнетюркская руническая письменность Евразии. (Опыт палеографического анализа). М., 1990. — С. 65, 67.

[11] Толочко А. П. [Рецензия]: Н. Голб, О. Прицак. Хазарские еврейские документы X в. // *Вопросы истории*. М., 1987, №12. — С. 144—146.

[12] Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. — С. 8.

[13] П. Голден. Достижения и перспективы хазарских исследований // *Jews and Slavs* 16. Khazars. Иерусалим — Москва, 2005. — С. 38. См. также В. К. Михеев, А. А. Тортика. Евреи и иудаизм в Хазарском каганате: К вопросу о формулировке современной научной концепции хазарской истории // Там же. — С. 176—178.

[14] Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев: Наукова думка, 1987. — С. 28.

[15] Толочко П. П. К вопросу о хазаро-иудейском основании Киева // *Хазарский альманах*. Т. 2. — Киев — Харьков — Москва, 2004. — С. 99—100. См. также Толочко П. П. Миф о хазаро-иудейском основании Киева // *Российская археоло-*

гия, 2001. №2. – С. 38—42.

[16] Петрухин В. Я. Послесловие. Комментарии // Н. Голб, О. Прицак. *Еврейско-хазарские документы X века. Изд. 2-е, испр. и доп.* – Иерусалим – Москва, 2003. — С. 194 – 220.

[17] Петрухин В. Я. Послесловие... — С. 194.

[18] Топоров В. Н. Спор или дружба? // *Aequinox. Сборник памяти о. Александра Меня.* – М., 1991. – С. 133. См. также Топоров В. Н. Еврейский элемент в Киевской Руси // *Славяне и их соседи. Еврейское население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: Средние века – начало Нового времени.* – М., 1993.

[19] Тортика А. А. «Киевское письмо» хазарских евреев: К проблеме критики содержания источника // *Материалы по археологии, истории и этнографии Тавриды.* — Вып. 9. Симферополь, 2002. См. также Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X века). – Харьков: Харьк. Гос. Академия культуры, 2006.

[20] Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник эпохи становления древнерусской государственности // *Российская государственность: История и современность.* СПб., 2003. — С. 6—14; Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник по социальной и правовой истории Древней Руси // *Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования.* 2006, №2. — С. 154—160.

[21] Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник по социальной и правовой истории... – С. 155.

[22] Там же. – С. 159.

[23] Golden P. B. *Khazar Studies: Achievements and Perspectives // Handbook of Oriental Studies. Section Eight. Central Asia* / Ed. D. Sinor, N. Di Cosmo. Vol. 17. – Leiden – Boston, 2007. P. 41. См. также русск. пер.: Голден П. Достижения и перспективы хазарских исследований // *Jews and Slavs 16. Khazars*. Иерусалим – Москва, 2005. – С. 27—68.

[24] Erdal M. *The Khazar Language // Handbook of Oriental Studies. Section Eight. Central Asia* / Ed. By D. Sinor, N. Di Cosmo. Vol. 17. – Leiden – Boston, 2007. Pp. 75—108. См. также русск. пер.: Эрдадь М. Хазарский язык. // *Jews and Slavs 16. Khazars*. — Иерусалим – Москва, 2005. – С. 125 — 139.

[25] Торпусман А. Еврейские имена в Киевском письме (X век): культурно-исторический аспект // *Jews and Slavs 19. Jews, Ukrainians and Russians. Essays on Intercultural Relations*. — Иерусалим – Киев, 2008. – С. 11—15.

[26] Напольских В. В. К чтению так называемой «хазарской надписи» в Киевском письме // Н. Голб, О. Прицак. *Еврейско-хазарские документы X века. Изд. 2-е, испр. и доп.* — Иерусалим — Москва, 2003. — С. 221—225.

[27] Zuckerman C. On the Kievan Letter from the Genizah of Cairo // *Ruthenica 10*. – 2011. – Pp. 7—56.

[28] Якерсон С. Несколько палеографических ремарок

к датировке «Киевского письма» // *Jews and Slavs 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World*. – Иерусалим – Москва, 2014. – С. 204—214.

[29] О. А. Мудрак. Заметки по иноязычной лексике хазарско-еврейских документов // *Хазарский альманах*, 14. — М., 2016. — С. 349—379; О. А. Мудрак. Основной корпус восточноевропейской руники // *Хазарский альманах*, 15. — М., 2017. — С. 296—416.

[30] *хамлаца* (ивр.) – рекомендация.

[31] Zuckerman C. On the Kievan Letter... — Pp. 8—9. (Пер. с англ. здесь и далее мой. – А. Т.)

[32] *Ibid.*, pp. 24—25.

[33] Якерсон С. Несколько палеографических ремарок... – С. 205.

[34] Там же. – С. 209—210.

[35] Там же. – С. 207—208.

[36] Marmorstein A. Nouveaux renseignements sur Tobiya ben Eliezer // *Revue des Études juives*. – Paris, 1921. – Т. 73. – Pp. 92—97.

[37] <...>

[38] Zuckerman C. On the Kievan Letter... — P. 11.

[39] *Ibid.* – P.9, note 3; p. 12, note 8. Ср. Д. Шапира. Евреи в раннее Средневековье в соседних с Россией странах // *История еврейского народа в России*. Т. 1: А. Кулик (ред.) *От древности до раннего Нового времени*. — Иерусалим — Москва, 2010. — С. 61—62.

[40] Ibid. – Pp. 12 -14.

[41] Ibid. – Pp. 14, 18.

[42] Ibid. – P. 17.

[43] См. Chlenov M. A. Knaanin – the Medieval Jewry of the Slavonic World // *Jews and Slavs* 24. *Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World*. — Pp. 13—51.

[44] А. Федорчук. Находки и загадки Авраама Фирковича // *Восточная коллекция*. М., 2006, №2 (25). С. 85; Кашовская Н. В. К итогам изучения караимского некрополя в ущелье Табана-Дере // *Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии*, вып. 22. – Симферополь, 2017. – С. 255.

[45] Zuckerman C. On the Kievan Letter... — P. 19.

[46] Ibid. – Pp. 19—20.

[47] Ibid. – Pp. 20—21.

[48] Респонсы – письменные разъяснения и решения по галахическим и судебным вопросам, которые даются иудейскими религиозными авторитетами в ответ на запросы общин и отдельных лиц.

[49] Zuckerman C. On the Kievan Letter... — Pp. 23—24.

[50] Ibid. – P. 24.

[51] Ibid.

[52] Ibid. – P. 25.

[53] Ibid. – P. 44.

[54] S. Iakerson. Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма» // *Jews and Slavs* 24. *Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World*. — P. 204.

[55] Ibid. – P. 208—209.

[55] Ibid. – P. 205.

[56] Ibid. – P. 208—209.

[57] Ibid. – P.211.

[58] Сомнение в том, что географическое название относится к Киеву, высказал, помимо Якерсона, также А. Бейдер (Beider A. *Origins of Yiddish dialects*. – Oxford, 2015. — P. 353). Причиной его скепсиса является, помимо стёртости первой буквы, также наличие в названии города предпоследней буквы вав, придающей якобы названию польский, а не восточнославянский облик (Киѳв или Киюв вместо Киев). Наблюдение верное, но стоит учесть, что название города автор письма воспроизвёл согласно этнолекту славяноязычных евреев – *кнааниту*, не вполне совпадающему с говором местных славян.

[59] S. Iakerson. Несколько палеографических ремарок... P. 211.

[60] Ibid. – P. 208.

[61] Ibid.

[62] Ibid. – P. 209.

[63] Ibid. – P.210.

[64] Ibid. – P.214.

[65] Мудрак О. А. Основной корпус восточноевропейской руники. См. прим. 29.

[66] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике... – С. 350—355.

[67] Шапира Д. Хазарское наследие в Восточной Европе//История еврейского народа в России. Т. 1. От древности до раннего Нового времени/ Под ред. А. Кулика. – Иерусалим – М., 2010. – С. 168.

[68] Ипатьевская летопись//Полное собрание русских летописей. СПб, 1841. Т.2. —Стлб. 114—115; Т. 5. – стлб. 164—165.

[69] Бубенок О. Б. Дані письмових джерел про поширення іудаїзму серед аланів у хозарський і післяхозарський періоди// Східний світ. Київ. 2004, №2.

[70]Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике... – С. 351.

[71] Beider A. Origins of Yiddish dialects. – Oxford, 2015. — P. 350.

[72] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике... – С. 352.

[73] Согласен с замечанием гебраиста Б. Рашковского относительно прочтения имени: «Я не вижу оснований считать последнюю букву „хетом“. Это „хей“, стоящий в позиции *matres lectionis* – показателя окончания „а“...»// *Вновь о лексике еврейско-хазарских документов. Маргиналии на полях статьи О. А. Мудрака «Заметки по иноязычной лексике хазарско-еврейских документов».* — *Хазарский альманах*, 14. — М., 2016. — С. 394.

[74] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике... – С. 354.

[75] Там же.

[76] Там же.

[77] Там же. – С. 352—353.

[78] Там же. – С.353.

[79] Там же. – С.355.

[80] О. А. Мудрак. Основной корпус... — С. 359.

[81] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике... — С. 354.

[82] Миньян (ивр.) – минимум в 10 взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и проведения ряда религиозных церемоний.

[83] И. Берлин. Сказание об Иоанне Грозном и о разгроме еврейской общины в Полоцке // *Еврейская старина*, 1915, СПб. <https://lechaim.ru/ARHIV/153/dostup.htm>

Мария Соловейчик

Семья как зеркало эпохи

Наверное, 90% воспоминаний начинаются со слов: «Как жаль, что я начала интересоваться историей своей семьи, когда уже некому было задать вопросы». Может быть, потому что именно эти запоздалые сожаления толкают человека к тому, чтобы начать работу памяти. Хочется, чтобы собственные дети, занятые сейчас своей жизнью, не сокрушались, как мы, когда придёт их время интересоваться судьбой предков, а задать вопросы будет некому. Хочется отдать дань благодарной памяти дорогим людям, которых они никогда не узнают.

Для меня, как для многих других, все началось с этого, но со временем, втянувшись в эту работу, я поняла, что пишу в первую очередь для себя. Подгонять один к другому осколки сведений из документов, фотографий, воспоминаний разных людей, коротких семейных анекдотов и радоваться, когда части подходят друг к другу, а когда чего-то не хватает, стараться вылепить недостающий кусочек из своих догадок, так чтобы в итоге получилась более или менее целостная картинка жизни семьи – это оказалось очень увлекательно.

Мне повезло. У меня есть странички маминых воспоминаний и воспоминаний ее друзей-одноклассников. За это низкий поклон ее однокласснице тете Нине Болотиной. Класс у мамы был уникальный, завязавшаяся в школе дружба продолжалась всю жизнь. В 1966 года они собрались в Харькове, съехавшись из разных городов, отметить 25-летие 9-Б (10 класс они не успели закончить, началась война). И с тех пор собирались каждые пять лет. В 50-ю годовщину тете Нине пришла в голову счастливая мысль к каждой встрече делать сборник воспоминаний одноклассников. Нина не просто выступила с идеей, она просила, убеждала, подталкивала, напоминала забывчивым и ободряла неуверенных в своих литературных способностях. В результате таких выпусков вышло три. Первый сборник назывался «Только для друзей» (1991), и каждый писал туда, что хотел. Для второго Нина придумала тему – «По старым адресам» (1996). Третий назывался «Мы и война» (2001), и в нем мама уже не смогла принять участия, он вышел за несколько месяцев до ее смерти, но копию сборника нам с сыном сделали. Я читаю и перечитываю эти воспоминания, не только маминь, но и ее друзей, и картина жизни становится более полной и объемной.

Отдельное спасибо тете Нине за возможность читать сейчас письма военных лет – и маминь, и других Бэшиников. Она сохранила их и вот как сама написала об этом в сборнике «Только для друзей»: «В страшные дни войны и разлуки,

там, на фронтовых дорогах, самым дорогим и светлым для меня были письма от моих школьных друзей. Эти письма помогали мне жить и верить, ждать и надеяться. За долгие годы войны я получила 491 письмо. Мне удалось сохранить их все до единого. Вначале я возила их в своем рюкзаке, потом, когда пачка писем становилась все объемистей, я стала хранить их в опечатанных металлических ящиках вместе с секретными штабными документами и оперативными картами (да простит мне командование этот самовольный поступок!). Как бы то ни было, но письма уцелели, и сегодня они – бесценны». Это истинная правда, тетя Нина, спасибо вам, я всегда буду вас помнить.

Я писала свои заметки для сына, для себя и не думала, что кому-то еще могут быть интересны эти картинки жизни обычных, незнаменитых людей. Но потом посмотрела под другим углом – ведь в картине жизни каждой семьи отражается эпоха, пусть только малая ее часть. Так что это можно рассматривать как рассказ о времени.


Волынские Афины

Меня, как и мою маму растили три бабушки, все по материнской линии – бабушка и две ее сестры, Рися и Злата.

Бабушки родились и выросли в черте оседлости, в городе Кременце на Волыни, маленьком городке, расположенном на севере Тернопольской области, недалеко от польской границы. Город это, хоть и небольшой, но древний, впервые упомянутый в польских энциклопедических словарях

под 1064 годом, расположен он очень живописно – среди гор, в небольшом ущелье. В силу близости к границе город не раз менял национальность – принадлежал то Руси, то Польско-Литовскому княжеству, то Российской империи. И, как говорит статья в Википедии, «каждая историческая эпоха оставила здесь свои неповторимые реликвии». Его называли «бриллиантом полуденной Волині», «жемчужиной Волынского края», он был известен как крупнейший культурно-образовательный центр XIX века – «Волынские Афины».



 CABINET PORTRAIT

Абрам Хазин с женой и дочерьми (слева направо) – Рися, Инда, Гитл, Злата

Только одна фотография сохранила родителей бабушек – моих прадеда и прабабку. Они сидят напряженные, не привыкшие фотографироваться, видимо надев для этой цели все лучшее. Прадед, сапожник Абрам Хазин (имя его сохранило мне отчество бабушек), в пальто и кепке, зажав в кулаки руки, трудами которых жила его большая семья. И прабабка, имени которой я не знаю, старушка с перекошенным ртом, в белом платочке, родившая 9 и вырастившая 7 детей: шестерых дочерей (Рейзл, Гитл, Фаня, Инда, Рися, Злата) и одного сына. Выглядят они как старик и старуха, хотя вряд ли им на этой фотографии намного больше 50.

Позади родителей четыре их молодые, статные дочери. Крайняя справа – самая младшая, ангелоподобная красавица Златочка, крайняя слева, в матроске, с чистым, юным лицом – Рися, между ними старшие – Инда и Гитл.

На этой фотографии нет моей бабушки, Фани. Но она есть на других снимках, примерно того же времени – с тремя подругами (две из них очень похожи между собой, явно сестры), с сестрой Гитл.



Фаня Хазина (сидит на возвышении) с подругами

На всех снимках той поры вид у бабушки серьезный и строгий, прямая спина, горделивая осанка. Слегка улыбается бабушка только на одном снимке 1916 года (ей здесь 26 лет), изображающем группу девушек в светлых матросках.



Фаня и Гитл Хазины



Фаня Хазина (сидит, первая слева)

Фото сделано в Одессе, а что она там делала – я не знаю, но, наверное, училась на каких-нибудь женских курсах, вряд ли в семье были средства на то, чтобы разъезжать по курортам. Одна, совсем затертая фотография – черно-усый юноша, рубашка в горошек, картуз, на обороте надпись «В память о прежнем. Хаим». Мама говорила, что Хаим Гибельбанг был бабушкиной первой любовью.

На следующем Кременецком снимке три сестры Хазины с подругой.



Стоят (слева направо) Инда и Злата, сидят Рися и подруга

Златочка стоит, опираясь на ограду, все с тем же кротким, словно молитвенным выражением лица, рядом, на фоне нарисованного дерева, застыла в женственной полуулыбке Инда, вся в белом. Рися, в черном переднике гимназистки, сидит со стеклом в руках, ножка в башмачке с перепонкой выставлена вперед, на лице шаловливая улыбка. Подруга явно старше сестер, по ее подчеркнута независимой позе и по тому, сколько пространства она отвоевала себе на этом снимке, кажется, что она чувствует себя здесь главной, словно она не подруга, но какая-то наставница. Может быть, так и было.

Все лица четкие и застывшие, только у Риси лицо смазано. Видимо, она не могла усидеть долго в важной неподвижности и в силу несовершенства тогдашней фотографической техники изображение получилось нечетким. Может быть такой, живой, подвижной, очаровательной полюбил 22-летнюю Рисю трогательно-серьезный юноша Яша, которого сохранила крошечная фотография с надписью на обороте: «Рае в память о Яше, Одесса 10.1X.1917»

Семья жила бедно, но дружно. В Златочкиных заметках есть описание характерного случая из детства: «Я как-то нашла три копейки. Когда я услышала, как мать, обращаясь к отцу, спрашивает, где взять деньги, чтобы купить продукты на субботу (нужно было минимум два рубля, нас было 9 человек, 7 детей), я сказала: «Я нашла три копейки, могу

их дать».

Мать гордилась своей Златочкой и часто хвасталась соседям: «Евреи, у меня растет Злата...» интонация шла вверх и завершала фразу мимическая игра, как будто слов у матери было недостаточно, чтобы выразить свои восторги, или боялась она спугнуть ту блестящую судьбу дочери, которая рисовалась ее воображению.

Говорили между собой на идише, русский язык в семью принесла бабушка, которая овладела им в 17 лет. Возможно, знание русского языка необходимо было ей для получения образования. Гимназию бабушка закончила экстерном, это я знала с детства, еще не понимая значения этого мудреного иностранного слова. Начав объясняться по-русски, образованные сестры стали поправлять неграмотную мать: «Мама, нужно говорить не «бочёлок», а «бочёнок», на что мать беспечно отвечала: «А-а-а, мне так легче». Правда, и сама бабушка поначалу говорила небезупречно. Она со смехом рассказывала, как на вечеринке в одной компании вновь прибывший молодой человек спросил, не было ли здесь его товарища, и она, всячески стараясь быть любезной, отвечала: «Его было, но он ушел».

Конец Кременецкой эпохи

Со временем птенцы стали разлетаться из гнезда. Самый старший из всех, единственный брат, еще в 1910 году отправился в Америку и устроился там работать на фабрику. О нем я ничего не знаю.

Через несколько лет уехала в Волочиск (городок в Хмельницкой области, недалеко от Кременца) сестра Гитл с семьей. На обороте фотографии, запечатлевшей троих ее детей – Зину, Мотыка и Лилю, написано «Снято 20.IV.1916 в Волочиске». В том же 1916 году уехала в Волочиск Златочка и прожила там два года, работая конторщицей (до этого она успела уже два года поработать в должности помощника зубного врача в Кременце).

А потом случилась революция. Большевики уничтожили черту оседлости и провозгласили равноправие евреев. Отныне евреи могли свободно передвигаться по стране и получать образование. Благодарность советской власти за эту милость бабушки сохранили на всю жизнь, и при каждом удобном случае любили повторять: «Только у нас это возможно!»

В 1918 бабушка Фаня уехала в Харьков и поступила там учиться в мединститут.

Златочка еще какое-то время продолжала кружить вокруг родного гнезда. В 1918 году она, видимо решив, что для получения хорошего места ей нужна какая-то официальная бумага об образовании, вернулась из Волочийска в Кременец и поступила в 6 класс гимназии. Ей уже был 21 год, скорее всего она училась экстерном. Сохранилось ее «Свидетельство» об окончании этой гимназии. Это большая добротная бумага, написанная на двух языках – русском и польском, по старой орфографии. Из этой бумаги следует, что «Хазина Злата Абрамовна, дочь мещанина из м. Любара, вероиспове-

дания иудейского, родившаяся 10 ноября 1897 года, поступила по экзамену в 1918 году в 6 класс Кременецкой на Волыни женской гимназии С. В. Алексиной, открытой на основании положения о женских гимназиях 24 мая 1870 года, пробыв в означенной гимназии 3 года, окончила в ней полный курс наук». На первом месте среди предметов в «Свидетельстве» Закон Божий – отличные знания (не понимаю, что это значит, мне казалось, что ученики иудейского вероисповедания были освобождены от уроков Закона Божьего). Есть языки: польский, латынь, немецкий и французский (русский не значится), по ним – «очень хорошо» (*bardzo dobry*), а также История, всеобщая и Польши (история России, как и Украины, в отдельный предмет не выделена). Все чинно и солидно, как до революции.



Рися, Кременец, 1922 год

Я не знаю, как отозвалась революция и все, что за ней последовало в Кременце. Бабушки об этом ничего не рассказывали, а из тех сведений, что я нашла в Интернете следует, что с 1793 по 1917 год Кременец входил в состав Российской Империи, а с 1921 года – вошел в состав Польши (украинским он стал с 1939 года). Что происходило с 1917 года по 1921 – не сказано, но, судя по набору гимназических предметов, он и в это время де-факто был польским, в 1921 году этот факт просто закрепился юридически. Причем, видимо, обстановка здесь была вполне мирная, потому что в 1919 году здесь был создан Волынский университет, вряд ли это могло произойти в период войны, постоянной смены власти и разрухи. Так что, весьма вероятно, что разрушения и жестокости революционной эпохи обошли маленький Кременец стороной.

Учась в гимназии, Златочка давала частные уроки, а после окончания с 1921 по 1922 год работала заведующей Кременецкой «хаты-читальни» (так и написано в послужном списке, «хата»).

К 1922 году относятся последние из имеющихся у нас кременецких фотографий Риси и Златы, где соответственно Рисе 27, а Златочке 25 лет – темные платья с белыми воротничками, чистые, ясные, молодые лица.



Злата, Кременец, 1922

В 1922 году Златочка отправилась в Харьков, где уже жила тогда бабушка и в сентябре этого года поступила в харьковский педагогический техникум.

Примерно в это же время Гитл с семьей, Инда, а вслед за ними и Рися выехали в Палестину. В анкете, которую Златочка заполняла при поступлении в партию в 1940 году, в пункте «родственники за границей», она указывает брата, который уехал в Америку в 1910 году и сестру, с 1924 года живущую в Палестине и занимающуюся там домашним хозяйством. Какую сестру она имеет в виду – неясно, потому что в Палестине на момент написания анкеты жили двое из сестер Хазиных – Инда и Гитл (Рися к тому времени уже возвратилась в СССР). Каждая из сестер имела семью и могла, таким образом, претендовать на титул «домохозяйки». Возможно, Златочка решила, что брата и одной заграничной сестры для кандидата в члены КПСС и без того многовато и вторую заграничную сестру сократила.

Итак, в начале 20-х годов родительское гнездо опустело. Да и сохранялось ли оно до этого времени? Я ведь совсем не знаю, когда умерли мои прабабушка и прадедушка. И если в начале 20-х, они еще были живы, остались ли в своем опустевшем доме или уехали в Палестину с Индой или Гитл?

Так или иначе, девушки из Кременца полетели в разные стороны навстречу новой жизни, в которой они (в это они

верили свято) не будут больше изгоями, в которой все будет не так, как было у их родителей. Я пытаюсь представить себе, какой же прекрасной рисовалась им эта новая жизнь и какой жаркой энергией наполняло их сознание того, что они строят и создают эту новую жизнь, что они ее хозяйева. А потом, в конце пути, пережив голод, эпоху репрессий, войну, с каким чувством смотрели они на то, во что превратила жизнь их надежды?

Путь этот поначалу у каждой из сестер был свой.

Бабушка Фаня

Участь в Харькове в институте, бабушка Фаня познакомилась с дедом.

Мой дед Владимир Ильич Кваша был на шесть лет моложе бабушки, он родился в 1897 году (она в 1890). Родом он был из местечка Покотилово Уманского уезда Киевской губернии. От мамы я слышала, что местечко это находится недалеко от Одессы. В семье было пять братьев. Старший Бойко, затем Моисей, потом мой дед Володя, затем Саня и самый младший Миша. Семья деда не была бедной. Фото моих прабабушки и прадедушки по этой линии подтверждает это: и они одеты как люди иного класса, чем кустарь-одиночка Абрам Хазин и его жена, и напряжения такого не чувствуется в их позе и лицах.



Илья Кваша с женой

Эти люди выглядят благополучными, не кажется, что они измождены тяжкими трудами. Всем своим пятерым сыновьям родители смогли дать образование. Дед мой был химиком.

В Харькове дед, вероятно, оказался по той же причине, что и бабушка – раз разрешено ехать, куда угодно, нужно ехать в столицу, а Харьков в это время был столицей Украины.

В 1920 году они поженились. Бабушке было 30 лет, деду 24. Союз их, в духе времени, был гражданским, официальное свидетельство о браке бабушка получила в 1948, после войны, когда дедушка уже пять лет как числился пропавшим без вести.

В 1924 году, будучи беременной моей мамой, бабушка узнала, что дед ей изменил. И поступила как гордая девушка с кременецкой фотографии – сказала своему гражданскому мужу, что видимо, он недостаточно ее любит и им нужно расстаться. После расставания дед через некоторое время уехал в Москву и надолго исчез из жизни бабушки и моей мамы, своей дочери.

Годы спустя, когда голова бабушки ушла в плечи, а осанка утратила царственную статью, она сожалела об этом своем максимализме. Дед был человеком ярким и жизнелюбивым. Дочь его брата Сани, мамина двоюродная сестра, тетя Ли-

ля, говорила, что он был самым веселым из братьев Квашей. И изменил он бабушке, возможно не потому, что не любил ее, а потому, что очень любил женщин. Мама рассказывала, как он, уже обзаведясь второй семьей, поехал с детьми, с ней и сыном от второго брака Игорем, на юг и как там он, уже не очень молодой, лысеющий отец двоих детей, у них на виду молодцевато стрелял глазами по Одесскому пляжу, пытаясь ухлестнуть за хорошенькими.

Но вторая жена деда Добочка была мудра и терпелива. Она не обращала внимания на увлечения мужа. Наверное, она могла разделять понятие флирта с понятием любви и семьи. А бабушка не могла. Может быть, по натуре была максималисткой, а может быть революция попутала – крушение старых ценностей: религии, традиций, института брака, а взамен женское равноправие, свободная любовь. А там, где есть измена, нет любви, а если ее нет, так нечего и быть вместе.

Как бы там ни было, дед уехал, не дождавшись рождения первенца, а бабушка осталась в Харькове с сестрой Златочкой.

Мама моя родилась 30 октября 1924 года. Имя бабушка дала дочери в духе времени: Дима – Диалектический Материализм или Долой ИМПериализм (как кому больше нравится). Как-то уже после смерти Златочки, я, роюсь в ее бумагах, нашла тонкую тетрадку, где было исписано всего несколько листов: Златочка рассказывала о том, как мама появилась

на свет.

«7 ноября Фаню выписали из больницы. Живо предстала в моем воображении такая картинка: 7 ноября 1924 года, Фаня с ребенком на руках, я напротив пробираемся на извозчике с ул. Конторской до ул. Сумской в часы демонстрации. Долго пришлось ездить по различным улицам, пока мы очутились дома на Сумской.

Какая трудная жизнь началась для Фани. В январе 1925 года она переехала на Чайковскую улицу. Там она начала работать Главврачом в Доме ребенка, там она и получила квартиру. В первый год после окончания института Фане пришлось вести большую научную работу по Охмат-дету /охрана материнства и детства/. Дочурку свою она тоже стремилась воспитать по всем правилам советской педагогики. Я окончила Харьковский педтехникум и в январе 1925 года уехала на работу в Донбас».

После отъезда Златочки, бабушка осталась одна с грудной дочерью на руках. И этот, довольно большой отрезок их с мамой жизни я вижу глазами мамы.

Дима-низзя-какао

Жилье, которое получила бабушка, было не квартирой, а комнатой. Детский дом занимал первый этаж здания, а комнатка, которую дали бабушке с дочкой помещалась на втором этаже, где располагался какой-то НИИ. Однако, в период маминого младенчества эта комнатка была, скорее

всего, просто местом ночлега, в рабочее время малютка была где-то при маме, то есть среди обитателей детдома.

Говорят, что один из признаков одаренности – очень ранние воспоминания. У мамы было одно такое. Над ней склоняются улыбающиеся лица больших девочек, она чувствует себя по сравнению с ними маленькой, ничтожной и ей странно и радостно, что они, такие большие и сильные, могли бы легко ее обидеть, но они наоборот добры и ласковы с ней и, пожалуй, даже готовы ее защитить, если что. По тому, в каком ракурсе виделись маме эти лица и что было вокруг, она относила это воспоминание к младенческому периоду своей жизни.

В этом детском доме, как во всех детских домах мира, чаще всего звучало слово «нельзя». Поэтому первое слово, которое произнесла моя мама было не «мама» или «папа», а именно «нельзя». «Низ-зя», – говорила она, копируя не только звуки, но и интонации взрослых, то есть говоря строго, «почти свирепо», как она вспоминала. Вторым словом стало почему-то «какао», а третьим – Дима. Так что в детском доме ее называли «Дима Низзя-какао».



Дима Хазина, Харьков, 1925

Рабочий день врача в детдоме был ненормированным, а после того, как в 1926 году бабушка вступила в партию, к ее профессиональной деятельности прибавились общественные нагрузки.

Сохранилась маленькая фотография – бабушка и три ее сотрудницы в белых халатах сидят в комнате за большим столом. Комната сплошь обклеена политическими плакатами: здесь и призывно воздевающий руку Ленин, и прославление «Ленинської партії», и гордое «новый быт – детище Октября», и «Да здравствует Октябрь, освободивший женщину – 10 лет». То есть, 1927 год.



Фаня Хазина, Харьков

По призыву любимой партии освобожденная женщина, имеющая на руках малолетнюю дочь, по вечерам ликвидировала безграмотность народных масс и вела агитмассовую работу. Бабушка любила рассказывать такую историю. Она с друзьями готовилась к политзанятиям, а рядом играла 3-летняя Дима. Для разрядки кто-то из друзей решил пошутить и спросил у малютки: «Ну, Дима, что такое профсоюзы?», в ответ крошка без запинки отчеканила «Профсоюзы – это школа коммунизма».

А вот другое семейное предание на тему маминой ранней политической зрелости и полной невинности в национальном вопросе. Соседка Варвара Ивановна, которая приглядывала за мамой во время бабушкиного отсутствия, как-то раз сказала Диме, что она, Дима, еврейка. Мама не обиделась, но обвинение отвергла: «Я-то, конечно, не еврейка, но мама моя действительно еврейка. Ну, что ж такого, лишь бы не буржуйка».

Буржуйскими предрассудками считались также любые проявления женственности. У мамы было одно платье. Отчасти, наверное, по бедности, но отчасти из принципа – думать нужно о победе мирового пролетариата, а не о каких-то тряпках. Следуя модным в то время и ныне совсем забытым теориям, бабушка наголо брила маме волосы – чтобы лучше росли.

Но главное – этому обриту и кое-как одетому спартанцу приходилось оставаться в одиночестве, когда бабушка после работы оставалась выполнять всевозможные партийные поручения. Причем, она была не просто одна в комнате, но одна на всем этаже. Мама вспоминает:

«Там /на втором этаже/ помещался НИИ (лаборатории, кабинеты). Днем там было много народу, а вечером все вымирало. Если мама была дома, то было совсем не страшно. Бегаешь, прыгаешь, слушаешь эхо – коридоры широкие, никому не мешаешь. Но если у мамы «ликбез» или еще какая-нибудь нагрузка, то я одна на всем этаже. Страшно. Я не признаюсь маме в этом. Стыдно. И мама рассказывает друзьям, какая у нее храбрая дочь: остается одна, не боится. Те рассказывают своим детям... Приходится держать марку. Так и не знаю, догадывалась ли мама, что я все-таки немножечко боюсь. Думаю, да, потому что она старалась свести к минимуму мои одинокие вечера: договаривалась иногда с Варварой Ивановной (она жила по соседству).

Варвара Ивановна была чудная старушка. Она угощала меня молочным киселем с ванилью. Она была добрая, любила меня и, наверное, жалела. Так хорошо было у нее под оранжевым абажуром. Но вот однажды я вдруг заметила в углу икону. Раньше не замечала, а тут у нас в садике была политбеседа, и нам все объяснили. Я подумала и начала антирелигиозную пропаганду: стала ходить вокруг стола и в такт шагам говорить: «Бога нет! Бога нет!». Я чувствовала себя

борцом, но вдруг все преобразилось. Лицо Варвары Ивановны исказилось – такой я ее никогда не видела, и что-то важное открылось мне в эту минуту.

Варвара Ивановна меня выгнала. И была, конечно, права. Я вышла встречать маму. Увидев ее издали, я бросилась к ней и горько заплакала. «Я больше никогда так не буду делать», – говорила я сквозь слезы. Варвара Ивановна простила меня, она поняла».

Читать мама научилась в пять лет:

«Оставаться вечером с книгой совсем не то, что одной. Я пристрастилась к чтению. В один из одиноких моих вечеров я читала «Муму». Я так вошла в книжку, в душу Герасима, что совсем не ощущала широкого темного коридора за дверью и окна с тонкими веточками и медленно возникающими странными фигурами в бесформенных одеяниях, которые так же медленно уходят, как появляются, которые так убедительны, что невольно тянет посмотреть, не лезут ли они в окно. Сегодня и окно и коридор молчали, они лишились своей притягательной силы. Я, кажется, ни разу не оглянулась, не прислушалась. Я читала. Когда произошло самое страшное, я не остановилась: ведь там еще что-то напечатано. А вдруг... Я плакала и читала. Я не остановилась даже тогда, когда все кончилось. Не остановилась, потому что там оставался еще мелкий шрифт. Пока есть хоть какие-то буквы, есть надежда. Мелкий шрифт – для взрослых. Там должно быть одно слово: «выплыла». Если

нет, то как жить? Я прочла все: типография имени тако-го-то, по адресу такому-то, столько-то экземпляров ти-раж, бумага такая-то, редактор такой-то, корректор та-кой-то... И ничего о судьбе Муму. И я одна на всем этаже. Некому меня утешить. Да я и не хочу утешения. Я хочу спа-сти Муму. Я смотрю в окно, и мне впервые не страшно. Со-всем. Самое страшное уже произошло.

Не помню, как я легла, как уснула, кажется мама пришла довольно скоро, уложила меня, успокоила».

Кроме чтения еще одной радостью в ее одиноком детстве для мамы была музыка. Она могла часами сидеть в тишине, и, надев наушники (так в те времена слушали радио), слу-шать музыку. Когда музыкальная передача заканчивалась, она снимала наушники и несла их бабушке со словами: «Ма-ма, говорят» – это ей было уже неинтересно, независимо от того, были это последние известия или детская переда-ча. Подрастая, Дима, как когда-то бабушка, стала мечтать учиться музыке. Но до покупки собственного инструмента было еще далеко, и маме оставалось только завидовать со-седским девчонкам, которых родители смогли отдать в музы-кальную школу. Когда в Доме врача открылась музыкальная студия, бабушка отвела дочь туда, и мама стала заниматься со страстью, используя любую возможность посидеть за ин-струментом. Оказалось, что у нее абсолютный слух и очень большие способности. Играя, она забывалась, закрывая гла-за или воздевая их к небу, то есть, не смотрела на клавиа-

туру, так что ее педагог шутил: «Дима играет с замашками виртуоза». Конечно, она быстро оставила позади всех соседских девочек, которым прежде завидовала.

Дима часто говорила, что в театр (она стала актрисой) ее привела тоска по празднику, засевавшая в ней со времен ее одинокого, бедного детства, в котором праздники случались так редко.

«Мы жили на Чайковской 21. Это короткая улица. Она начинается в районе «Гиганта», а конец ее, разветвляясь, переходит в Журавлевку. Все окна «Гиганта» вечерами всегда освещены. Такого не бывает в других домах, потому что «Гигант» – общежитие. Там всегда кто-нибудь дома. Кто-нибудь дома! Как это хорошо. Я завидую «Гиганту». Я завидую и вон тому окну, где светится оранжевый абажур. Там все дома, и так тепло. Но больше всего завидую «Гиганту»: там все окна светятся – всегда. Он для меня – стоглазое, живое существо. Я с ним разговариваю.

Перед праздником мы с мамой идем смотреть иллюминацию. Это традиция. Мы подходим к «Гиганту». Я смотрю на него и победно шепчу: «Можешь не задаваться, сегодня и у меня праздник. Можешь не таращить свои окна!».

Как хорошо, когда мама держит за руку и шепчет: «Боба дорогая». Как хорошо с мамой. Я чувствую, что для нее я хорошая, хоть и трудновоспитуемая. «Боба дорогая» – мое домашнее прозвище, когда я хорошая».

Одиночество, скудость домашнего мира (игрушек, как

буржуазного предрассудка, у мамы тоже не было) и чтение развивало фантазию. Однажды, видимо начитавшись «Хижины дяди Тома», Дима задумала вылепить из пластилина настоящую плантацию. Она живо вообразила себе майсовы поля, измученных рабов и жестоких надсмотрщиков с плетьюми в руках, и ей стало казаться, что все это у нее уже почти что есть. И она сообщила детям в детском саду о чудесной плантации, которая находится у нее дома под кроватью. Дима так красочно живописала эту картинку, что раззадоренные слушатели стали напрашиваться в гости. Всем хотелось взглянуть на эту диковинную штуку. Тут Дима рухнула с небес своего воображения на землю и стала лепетать что-то про то, что сейчас пока нельзя, потому что мама болеет, вот попозже обязательно...

Дома она срочно взялась за исполнение задуманного. Но – о ужас – все, что так изумительно красиво прорисовывалось в ее фантазии, на деле получалось совсем по-другому: пальмы гнулись, опускаясь тяжелой кроной на подставку, человечки не стояли на ногах, руки их опускались, палочки-плети получались неровными, похожими на колбаски. Теперь ей уже мучительно хотелось, чтобы все забыли о ее плантации, она с ужасом ждала, что кто-то, особо памятный, явится к ней домой и разоблачит ее перед всеми.

Мама не помнила, как ей удалось выкрутиться, наверное, просто со временем дети забыли о ее чудесах под кроватью. А термин «пластилиновая плантация» вошел в наш семей-

ный словарь: когда кто-нибудь слишком уж увлекался строительством воздушных замков, его останавливали: «Так, начались «пластилиновые плантации».

Вообще детский сад радости жизни маме не прибавил. Безо всякой теплоты она вспоминала свою первую воспитательницу Оксану Ивановну, которая во время тихого часа ходила между детскими кроватками и говорила: «Тихо діти, тихо», а когда какой-нибудь малыш обращался к ней по-русски, она с выражением нейтральности на лице, откликнулась: «Не розумію...».

Это звучит совершенно невероятно для всякого, кто знал мою маму, но в раннем детстве она была жуткой хулиганкой. Семейное предание рассказывает, что она била и сбрасывала в канаву свою подружку – тихую, неуклюжую Инку Сахновскую, после чего отец Инки, деликатный, интеллигентный Яков Давыдович, друживший с бабушкой, смущаясь и краснея сказал ей: «Фаня, давай вместе подумаем, что делать, может быть их как-нибудь... разделить?».

Такой же хулиганкой мама была и в садике. И неизвестно, как долго она продолжала бы жить с клеймом «трудновоспитуемой», которое не давало ей измениться, даже когда она этого уже сама хотела, если бы не внезапный поворот судьбы.

У Оксаны Ивановны неожиданно обнаружили открытую форму туберкулеза, и ее в срочном порядке убрали из садика. На ее место пришла старая, мудрая воспитательница. Можно не сомневаться, что перед вступлением в должность,

она познакомилась с характеристиками всех детей, но придя в группу, она вела себя с Димой так, словно ничего не знала о ее преступном прошлом. Она обращалась со всеми одинаково доброжелательно и всем дала какие-то поручения. Мама получила назначение «старшей над веником». Вечером Дима с замиранием сердца говорила бабушке: «Мама, она, наверное, не знает, что я плохая» и старалась сделать все, чтобы скрывать эту тайну как можно дольше.

Садик мама с тех пор полюбила. Если раньше она старалась воспользоваться любым чихом, чтобы остаться дома, теперь она бежала в садик как на праздник. Даже когда она простудилась и заболела, то с температурой порывалась убежать туда: «Я ведь старшая над веником, там без меня все пропадут». А когда в детском саду готовился очередной праздник, воспитательница назначила маму дирижером шумового оркестра. Так хулиганка стала кротким ангелом – раз и на всю жизнь.

Эта история была семейным анекдотом. Мама рассказывала со смехом о своем буйном детстве. И я смеялась вслед за ней – надо же, какая невероятная нелепость моя мама – хулиганка! Но никогда я всерьез не задумывалась над тем, почему так случилось. А в самом деле – почему? Может быть, так выливалась боль ее одиночества? Может быть, Инке она просто завидовала, оттого что у нее, Инки, был отец, да еще такой чудесный как Яков Давыдович – я помню этого высокого, хudoщавого мужчину с большими ласковыми руками

и застенчивой улыбкой.

Ведь дед в ту пору ее раннего детства не только не помогал семье, но почти не появлялся на горизонте. Сначала он периодически приезжал в Харьков, но потом пропал так надолго, что мама совсем забыла, как он выглядит, и однажды погналась на улице за незнакомым мужчиной, потому что ей показалось, что это ее папа. Мама этот эпизод запомнила так хорошо, наверное, еще из-за реакции бабушки: бабушка очень рассердилась на дочь и ругала ее. Видимо, бабушке больно было это видеть, но ей все еще хотелось быть гордой.

Уже после рождения сына Игоря (он родился в 1932 году), дед стал приезжать чаще. Думаю, дело было не только и столько в факте появления на свет сына, сколько в благотворном влиянии второй жены деда Доры Захаровны. Она не только не препятствовала отношениям мужа с первой семьей, но всячески старалась сделать все, от нее зависящее, чтобы эти отношения были теплыми и родственными. Сыграло, наверное, роль и то, что мама стала взрослее, ей в то время было уже 9 лет, и она понравилась отцу. Во время коротких визитов он всячески старался заслужить благосклонность дочери: катал ее на извозчике, покупал мороженое и жульнически проигрывал в шашки (мама очень сердилась, когда он выигрывал).

А бабушка? В этой суровой жизни, с работой, заботой о дочери, колхозами, ликбезами и партсобраниями, было ли у бабушки хоть чуть-чуть времени на себя? Был ли шанс хоть

немного чувствовать себя женщиной? Были ли у нее поклонники, связи с мужчинами? Может быть, и были. Мама говорила, что бабушка всегда была страстной и влюбчивой. Почему она так считала? Может быть, что-то знала о бабушкиной личной жизни, но мне не рассказывала. А может быть, просто так чувствовала свою маму. Но если и были у бабушки какие-то привязанности, увлечения или даже романы, серьезных последствий они не имели, замуж она так и не вышла.

«Я очень люблю школу...»

В одинокой жизни моей мамы школа стала праздником. За всю жизнь у нее не было, пожалуй, лучшего сообщества, чем ее школьный класс, а своего классного руководителя Рахиль Лазаревну Басину она обожала до конца жизни, как, впрочем и все ее одноклассники, да и вообще все ученики 36-й школы.

До поры до времени я думала, что маме просто повезло – заботясь о более или менее равновесном распределении даров жизни, послал Бог одинокой девочке кусочек счастья. Однако, почитав воспоминания Бэшников, я поняла, что это везение организовала бабушка (хотя и провидение в этом тоже поучаствовало, потому что класс был не просто хорошим, он был, повторяюсь, уникальным, под стать Пушкинскому Лицею).

Бабушка понимала, что того внимания, которое она может уделить дочери, катастрофически недостаточно. Если рань-

ше она задерживалась по вечерам, то когда мама подросла, стала уезжать на несколько дней по призыву партии в колхозы. Перед отъездом бабушка проводила с мамой политбеседы, объясняя популярно, куда она едет и почему это так необходимо и неизбежно – уезжать, оставляя малолетнюю дочь на попечении чужих людей: «Вот ты учишься в школе, а на селе детям негде учиться, нужно им помочь...» и все в таком духе. Оставаясь одна в периоды бабушкиных многочисленных отлучек, мама читала книги и сочиняла стихи:

Теперь уже сказать нельзя,
Что города школы лучше, чем школы села
Но есть еще много врагов, они мешают дружной стройке.
Партийцев посылают, они там работают стойко,
А у крестьян есть охота подражать.

Мама со смехом пересказывала мне свои детские стишки, потешаясь над последней строчкой, особенно над падежным окончанием слова «крестьяне». Девочкой я смеялась вместе с ней, но, став старше, начала горячо сочувствовать девочке-маме и посылать проклятия в адрес советской власти – как же нужно было засрать людям мозги, чтобы женщина, любящая мама, по первому зову партии мчалась в любую глушь, оставляя свою единственную доченьку на чужих людей. Я не осуждала, конечно, бабушку, но с сожалением думала о ее фанатичной преданности партии, которая застав-

ляла маму так страдать.

И только сейчас пришло более объемное видение.

Конечно, я знала давно о страшном голоде на Украине, искусственно организованном сталинской властью в 30-е годы. Об этом в 90-е годы много писали, а от документальных кадров, которые показывали в исторических телепрограммах, волосы дыбом стояли. Но это знание существовало параллельно с бабушкиными колхозами. И только сейчас, когда я перечитывала воспоминания маминых одноклассников, эти параллельные прямые, поменяв траекторию, вдруг пересеклись. Маленькая история жизни любимых людей подсветилась большой Историей и зазвучала по-новому.

В воспоминаниях одноклассники говорят не только о школе, но описывают разные картинки городской жизни, какие видела в детстве и моя мама. «Во двор часто приходил старьевщик, оглашая его криками: „Старье берем! Старье берем!“, точильщик – „Точить ножи-ножницы!“, шарманщик с обезьяной и попугаем. А иногда во двор заглядывал „Петрушка“ – бродячий кукольник, который ставил ширму и давал веселое представление. Оно обычно начиналось так: две куклы: „Здравствуйте, милые зрители, мы Петрушкины родители, старичок и старушка, а это наш сын Петрушка!“. Тут из-за ширмы выскакивала третья кукла – Петрушка в красной рубахе в белый горошек и в синих шароварах. После окончания представления из всех окон, выходящих во двор, кукольнику бросали медяки, завернутые в бумаж-

ки – плата за спектакль» – вспоминает *Нина Болотина*.

Извозчики, которых я застала только в виде туристического развлечения, также были частью городского пейзажа. Вместо черной «Волги», а впоследствии «Мерседеса», высокопоставленных лиц возил на работу извозчик. Об этом вспоминает *Лидя Мишустина*: «Мой отец работал в стройуправлении при заводе ХПЗ, и ему был положен личный транспорт. Отца возил на работу и с работы заводской извозчик. В двухместный фаэтон была запряжена лошадка, на облучке сидел кучер».

А вот зимняя картинка:

«дворники в белых фартуках с бляхами сгребали снег большими деревянными лопатами в сугробы вдоль тротуаров. Я очень хорошо помню, что зимой тротуар на улице Свердлова напоминал бесконечный белый туннель. Вывозили снег лошадки, запряженные в специальные сани с высокими бортами» (Нина Болотина).

Но видели они не только такие мирные картинки, но и кое-что другое.

«1932 год /в этот год мама и ее одноклассники пошли в школу/ – еще много было беспризорников от прошлых лет, и уже стали появляться новые – из семей раскулаченных, из голодающих семей, семей, распавшихся из-за необычайно трудной жизни. Они лазили по карманам горожан в трамваях, грабили прохожих в подворотнях и темных подъездах» (Нина Болотина).

А вот что пишет Эллочка Бродская (в замужестве Боброва):

«Конец 1932 года, зима и весна 1933 – время страшного бедствия на Украине. Каждый день с улиц Харькова убирали десятки, а может быть, и сотни трупов. Горожане получали паек по карточкам, через „распределители“. Мой отец, беспартийный юрист был в 1930 году мобилизован на службу в ОГПУ и занял довольно высокий пост в Юридической службе органов. Весной 1933 года /Эллочке, как и маме моей было в то время 9 лет/ он застрелился в своем служебном кабинете».

Из воспоминаний Рэма Боброва:

«Весной 1933 года мой отец, Исаак Наумович Бобров, был послан в Купянский район с заданием организовать работу МТС и обеспечить техникой мертвые колхозы. Он пробыл там несколько месяцев. Вернулся он с первой сединой в голове и в состоянии крайнего телесного и нервного истощения. То, что он повидал в селах (и о чем шепотом рассказывал лишь очень близким людям), ужаснуло его. Он понял всю преступность проведенной насильственно коллективизации и весь кошмар спровоцированного ею голода».

Когда я читала последнюю запись, меня вдруг осенило: а бабушка-то! Ведь она в такие же колхозы ездила, и все эти ужасы своими глазами видела. Если зрелые, сильные мужчины сидели от этих картин, то что же чувствовала она, женщина, мама, доктор? И могла ли она кому-то рассказать об этом,

хотя бы шепотом?

Я не знаю, с какой партийной задачей посылали ее в деревню, но поскольку она была врачом, то, может быть, она не картошку там должна была копать, но делать свое дело – лечить детей и взрослых, помогать, чем возможно. И если это так, то как бы душа ее не болела о своей доченьке, она считала, что этим несчастным людям она нужна еще больше. Да и вряд ли ей предлагался какой-то выбор. Понимая, что эту ситуацию изменить невозможно, бабушка сделала то единственное, чем могла ее хоть как-то поправить, то, что не смогла сделать для своего сына я и то, что даже не подумали сделать для меня мои родители – она нашла для мамы хорошую школу.

36-я школа считалась привилегированной: в ней учились дети местной элиты. А нужно учесть, что Харьков в то время (до 1934 года) был столицей Украины, так что элита была крутая.

«Учителя наши были умелыми и опытными педагогами. Ведь подбирал их непреклонный и мужественный директор с гимназическим учительским прошлым Павел Васильевич Туторский, светлая ему память! Рахиль Лазаревна рассказывала, как ее молодую учительницу-комсомолку послали в 1928 году в 36 школу, чтобы она противостояла „старорежимным“ методам Туторского. Но, поработав рядом с ним в школе, она поняла, что именно так и надо вести дело». (Эллочка Бродская).

В годы больших репрессий советская власть до Титорского все же дотянулась. «В городской газете появилась злобная статья „Тихая заводь“, где всячески поносился наш замечательный директор, прекрасный педагог и учитель географии П. В. Титорский. Ему вменялось в вину, что он подобрал педагогический коллектив из представителей „гнилой“ интеллигенции дореволюционного прошлого. Даже не преминули отметить, что секретарем дирекции работает „бывшая графиня Магнус“. Титорского отстранили от должности». (*Юра Тесленко*). Но это было уже немного позже, и, слава Богу, отстранением от должности все и ограничилось, Титорский дожил до старости и даже бывал на встречах 9-«Б».

Из воспоминаний рядом с именем Рахиль Лазаревны всплывает «...образ Аси Самойловны, оставившей в наших душах след добра и вложившей первый кирпич в фундамент того прекрасного, что дала нам наша неповторимая школа» (*Тесленко*). Об Асе Самойловне, учительнице начальной школы, и мама вспоминает в очерке из сборника «По старым адресам». Главка называется «Старая школа», так они называли школу, где учились до 5 класса, потому что потом 36-я школа переехала в новое здание, где и оставалась до начала войны. Итак, слово маме.

Старая школа

Еще один старый адрес. Наша старая школа. Существует ли она еще? Мы стекались туда ручейками. Это был наш

первый шаг. Она приняла нас всех: читающих и не читающих, пишущих печатными и письменными буквами и вовсе не пишущих. Нас встретили внимательные глаза Аси Самойловой, ее улыбка, ее руки, которые довели нас до новой школы, где было немного страшновато без нее на первых порах.

В старой школе был класс музвоспитания. А, может быть, он назывался как-то иначе. Но нет, помнится, что не «пение», не «музыка», а «музвоспитание». Впрочем, есть кому меня поправить. Может быть, кто-нибудь вспомнит имя и отчество учителя. Как же я его забыла?! Долго помнила, потом забыла. А его самого помню. Он был большой и добрый, и был похож на дворянина (такими рисовались мне дворяне, когда впоследствии читала я Тургенева и Чехова). Я любила рассматривать его. Однажды, когда мы расходились с урока, он подошел ко мне, погладил по голове, улыбнулся и сказал: «Будешь учиться...» Больше ничего. Фраза осталась неоконченной, он не поставил точки. А многоточие повисло какой-то надеждой. Хотелось договорить: «Станешь человеком».

Может быть, я со своей наголо остриженной головой, в бесформенном платье на вырост была для него воплощением того самого пролетариата, которому «нечего терять, кроме своих цепей...», и в таком воплощении он показался ему более приемлемым, чем на баррикадах и митингах. Недолго он пробыл у нас. Перешел в другую школу? Переехал в другой город? Не хочу строить предположений. Вспомнилось,

что в очерке Юры Тесленко было что-то о нем. Перечитала и нашла: украинский композитор Козицкий!

Встреча с Рахиль Лазаревной

Моя первая встреча с Рахиль Лазаревной произошла, как это не странно, в стенах старой школы. Я в чем-то провинилась, и мне велели явиться к завучу. Завуч, это была она, Рахиль Лазаревна. В чем была моя вина – не помню. Скорее всего – опоздания. Я совсем еще недавно поступила в школу, но о Рахиль Лазаревне была уже наслышана. Она была гордостью школы, ее легендой. Говорили, что она может повлиять на самого неисправимого ученика – такова сила ее взгляда.

Я, конечно, очень волновалась, переступая этот порог, но почти сразу волнение уступило место восхищению. Я видела Рахиль Лазаревну фактически впервые. То есть, несколько раз видела издали, но так близко – никогда. И я захлебнулась от восторга. Ее прекрасные карие глаза смотрели прямо на меня, и говорила она, обращаясь прямо ко мне. Говорила неспешно, а глаза смотрели задумчиво. Она была во всем права, и она была красавица. Мне стало стыдно. И я пообещала себе, что больше не буду опаздывать. Видно, ее сила была не только во взгляде ее прекрасных глаз, но и в ее задумчивости, в ее искренности, в печали и радости ее раздумий.

Я уже освоилась и чувствовала себя участницей разговора

к тому времени, когда она, так же задумчиво глядя на меня, сказала: «Ты не любишь школу». Я сочла себя вправе ответить и сказала очень серьезно: «Что вы? Я очень люблю школу». Это была правда. И Рахиль Лазаревна вдруг переменялась. Вот перемену эту я очень отчетливо помню. А описать не могу. Лицо ее осветилось, что ли? Она смотрела на меня немного удивленно и очень внимательно. Может быть, вдруг обнажился перед ней юмор ситуации – получалось что-то вроде светской беседы: «Что Вы? Я очень люблю школу». Может быть, она устала уже вразумлять неисправимых и рада была случаю улыбнуться внутренне, глядя на свою собеседницу. Во всяком случае, она больше ничего не говорила и отпустила меня».

Пока бабушка работала, а мама подрастала, бабушкины младшие сестры шли каждая своей дорогой.

Рися

Рися, как я уже говорила, в 1922 году уехала в Палестину. Мама рассказывала, что там у нее был роман. Когда через несколько лет Рися вознамерилась ехать обратно в Советский Союз, ее возлюбленный молил ее: «Не уезжай! Ты ведь все равно вернешься сюда, я знаю. Ты вернешься. Я буду ждать». Откуда им было знать, что из Советского Союза не возвращаются.

Почему она все же уехала, на что надеялась? Зачем не держалась за свое женское счастье? Думала, что все впереди?

Но ведь ей в то время было уже за 30 и так недолго ей дано еще было оставаться привлекательной. Может быть, она скупала по сестрам? Или здешняя жизнь рисовалась ей прекрасным раем? Так жалко ее, жаль ее ускользнувшего счастья. Рися не была умной, ни в Палестине, ни в СССР она не смогла бы сделать успешную служебную карьеру, но она была энергичной, работающей и преданной, она могла бы стать хорошей женой, любящей и любимой мамой. Но она уехала от своего возлюбленного и тем сделала другой выбор.

Из Палестины Рися перебралась в Германию, а оттуда отправилась в Харьков, где жили ее сестры. Мама хорошо помнила возвращение Риси из эмиграции, это был 1929 год, ей в то время было уже 5 лет. Ей рассказали, кто такая Рися (до этого мама не знала о ее существовании, видимо считали, что девочке не стоит знать о заграничных родственниках) и откуда она едет. На вокзал поехали встречать всей семьей, и на обратном пути мама, забегая вперед процессии, старалась заглянуть Рисе в лицо и найти на нем следы пережитых в капиталистическом аду страданий: «Что, Рисенька, здорово тебя буржуи мучали?».

На маленькой фотографии, наклеенной на удостоверение, Рися еще очень хороша собой, такой ее любил неизвестный палестинец. Еще есть в этом лице женственная округлость, еще дышит оно молодой энергией. Даже на снимках 30-го года, где Рисе 35 в ней можно еще узнать кременецкую гимназистку, но уже бугрится и тяжелеет ее лицо, и в повадке, даже

на фотографиях, видна неуклюжесть и резкая угловатость. На снимке она стоит с двумя какими-то юношами на морском каменистом берегу, в августе 1932 года, ей 37, но кто-то еще за ней ухаживает. Однако, кто бы ни были эти юноши, они, как и одесский Яша, как и молодой палестинец, исчезли из ее жизни. Она так и оставалась одинокой.

Златочка

В 1926 году, проработав после окончания Харьковско-го педтехникума год учительницей в селе Константиновка в Донбассе, Златочка переехала в местечко Хоцевато на Первомайщине (похоже, где-то под Одессой), а в 1928 году вернулась в Харьков и поступила в институт народного образования. Окончив его в 1931 году, она работала учительницей в ФЗУ в Харькове, а в 1934 году на 4 года уехала в Биробиджан.

Сейчас я думаю, что в этом Златочкином неугомонном колешении по стране что-то было, какое-то понимание своего призвания. Она не была хорошим литератором. Образование, полученное ею, было беспорядочным и неглубоким, литературный вкус – примитивным, полностью ориентированным на идейность, а не на стиль, красоту слога, точность образов. Когда уже в старости она решила бороться со склеротическими нарушениями памяти с помощью заучивания стихов, то использовала в качестве мнемонического материала стихи Николая Олейника (в переводе с украинского!)

о старости и стариках. Она заучивала эти бездарные стишки и читала их своим партнерам по лавочке. Не помню, чтобы она когда-либо говорила о своих пристрастиях в области классики или интересовалась литературными новинками. Словом, не была она ни любителем, ни знатоком изящной словесности. Но она была идеальным воспитателем советского типа. Она умела нести в массы ту скромную культуру, которой владела сама, и на том уровне, который полуграмотным массам был по плечу. Потому, быть может, и колесила она без устали по глухим закоулкам нашей необъятной родины, ликвидируя безграмотность и распахивая культурную целину.

Когда бедная жена еврейского сапожника, моя прабабка, хвасталась перед соседями своей Златой, я знаю, что она имела в виду: вот растет идеальная еврейская жена – красивая и разумная, кроткая и работающая, добрая и терпеливая, самоотверженно преданная семье. Ох и повезет же кому-то!

Кто бы мог подумать, что эта кроткая красавица так никогда и не выйдет замуж. Мама рассказывала, что в гимназии Златочка была влюблена в латиниста. Смутно слышала я, что была какая-то романтическая история с молодым человеком по имени Гриша Поволоцкий. Но от этого осталась только фотография пожилого военного с орденами и надписью на обороте: «Незабываемым друзьям, сестрам Хазиным в память о прекрасно проведенном вечере», да еще коротенькое письмецо полуделового содержания.

Откуда было знать моей прабабушке, что нарушится мировой порядок, и ее младшенькую шархнет по башке революцией. И все эти сокровища, Богом предназначенные мужу и детям, семье, достанутся Советской власти. А случилось именно так. Поверив этой власти, Златочка отдалась ей полностью и уже не могла ей изменить. Потому что действительно главной чертой ее характера была преданность.

Я сказала, что сестры Хазины любили Советскую власть. Может быть, это не совсем точно. Рися скорее просто принимала идеологию семьи, потому что не имела притязаний на собственную. У бабушки просоветские настроения были в большей мере данью ее пламенной молодости, она была слишком умна и независима, чтобы верить слепо и не замечать очевидного.

Любила активно советскую власть именно Златочка. Я не хочу сказать, что она была глупа. Нет. Но верность была сильнее и побуждала ее изощряться в софистических попытках свести концы с концами в этом хаосе, который назывался социалистическим строем. Иногда это выглядело просто анекдотически смешно, как например, когда она, услышав от кого-то, что в капиталистическом, а значит, идейно чуждом Израиле мало пьют (а к пьянству она относилась, конечно, очень плохо), на минуту растерялась, а потом выкрикнула: «Потому что там эксплуатация, там не на что пить!»

Но в остальном, то есть в том, что не касалось ее коммунистических убеждений, Златочка никогда не теряла житей-

ской разумности.

Новое семейное гнездо

Несмотря на жуткую нищету – всем тогда жилось трудно, а каково было матери-одиночке, у которой не было никакой поддержки, вообще представить себе невозможно – бабушка умудрялась копить деньги на жилье, нельзя же было вечно жить в казенной комнатке при детдоме.

Помню, мама рассказывала, как бабушка, внося первый пай на застройку своего дома, пошла посмотреть место будущего жилья. Оно показалось ей на редкость необжитым и неудобным – грязь, овраги, бараки. Бабушка очень расстроилась и стала раздумывать, не взять ли деньги назад. В таких грустных размышлениях она шла по улице и встретила своего знакомого, который стал расспрашивать ее, чем она расстроена. Узнав, в чем дело, он начал энергично убеждать бабушку не отказываться от квартиры: район близок к центру, будет быстро застраиваться, через несколько лет его нельзя будет узнать, и ей здесь будет очень хорошо. Спасибо ему, потому что так все и вышло.

Судя по тому, что бабушка сама, без обсуждения с сестрами собиралась принимать решение по квартире, я полагаю, что на тот момент их намерение иметь общий дом еще не вызрело. Однако постепенно все к этому шло: надежды сестер построить собственную семью год от года таяли и, наверное, все больше хотелось держаться друг друга. В апре-

ле 1934 в новой квартире в Барачном переулке они уже были зарегистрированы вчетвером – три сестры Хазины и один ребенок – моя мама, Дима Хазина.

Златочка, правда, когда образовалась Еврейская автономная область, еще на 4 года рванула в Биробиджан, но в 1938 году окончательно вернулась в Харьков и с того времени жила с сестрами, уже не расставаясь. Работала она учительницей в разных школах, пока 6 сентября 1958 года дирекция, парторганизация и коллектив 27-ой вечерней Школы рабочей молодежи города Харькова не отправили ее на заслуженный отдых, как водится, с пожеланиями многих лет жизни, здоровья и бодрости.

Рися, не имевшая никакого образования, устроилась швейей на ткацкую фабрику и всю жизнь проработала там. Здесь, в работе на конвейере, пригодилась ее быстрота, которая, получив конкретную цель и направление, помогла ей добиться успехов. Она стала ударником производства, среди немногочисленных сохранившихся ее документов я обнаружила красное удостоверение «Кращому ударнику 2-й ткацької фабрики ім. Тінякова».

Она стойко тянула до конца своих дней тяжкий воз труда, с течением времени все больше становясь похожей на ломовую лошадь. Такой я ее помню, потому когда я впервые увидела ее молодые фотографии, я не могла поверить, что это легкое, прелестное существо и Рися, которую я знаю – один и тот же человек.

В семье Златочка была главным специалистом по ведению домашнего хозяйства – ходила на Сумской рынок, готовила на всю семью, занималась бюджетом и была главной по «связям с общественностью»: поддержание добрых отношений с соседями и родственниками, контакты с официальными инстанциями, когда требовалось – все это было в ведении Златочки. Она всегда была общительна и социально активна.

Златочка понимала и любила людей, причем доброта ее была деятельной. Вот один пример, о котором я знаю со слов мамы. В школе, где Златочка работала, преподавала пожилая учительница истории, которой оставалось несколько месяцев до пенсии. На ее беду директору понадобилось устроить на работу какую-то свою родственницу, и она приняла решение историчку уволить. Златочка раскинула мозгами. Вязываться в открытый бой с директрисой она не хотела, боясь потерять место, но пожилую историчку было жалко. И наша праведная Златочка села за письменный стол и своим аккуратным почерком написала на директрису анонимку. Документ приняли во внимание, рассмотрели, справедливость была восстановлена, и пожилая учительница сохранила место, так и не узнав никогда, кому она этим обязана. Тайна хранилась в нашей семье столь свято, а репутация Златочки была столь безупречна, что директриса ей же жаловалась в сокровенной беседе на неизвестного подлеца, разрушившего своим анонимным письмом ее планы. А Златочка

слушала с невинным видом и даже выражала директриссе лицемерное сочувствие.

Она была равнодушной и справедливой. Помню ее рассказ, как в голодные годы, когда процветало воровство, она однажды увидела, как к широкому карману кондуктора трамвая тянется чья-то быстрая рука. Она схватила эту руку с криком: «Что вы делаете?». Вор отпрянул, внимательно посмотрел на Златочку, тихо сказал: «Ты мне не попадайся!» и спрыгнул с подножки трамвая. Пожилая кондукторша чуть не задушила Златочку в объятиях. А Златочка какое-то время еще ходила по улицам, оглядываясь со страхом и опасаясь мести вора.

Сестры жили дружно, любили и поддерживали друг друга. Но однажды, уже после смерти Златочки, мама сказала мне, что бабушка тяготилась этой совместной жизнью, ей хотелось иметь собственную полноценную семью. Это не получилось, и потому бабушка всегда так ревностно оберегала мамину семью – ей страстно хотелось, чтобы ее дочь получила то, чего судьба не дала ей.

И еще одна не осуществившаяся мечта бабушкиной юности перекинулась на дочь. Семейное предание рассказывает, как она, еще во времена кременецкой молодости, заслышав льющиеся из какого-то окна звуки рояля, останавливалась посреди улицы и подолгу слушала музыку, мечтая когда-нибудь научиться играть. Ей это не удалось, и теперь она хотела, чтобы музыкой занималась ее дочь. Так что после приоб-

речения жилья сестры сохраняли режим жесткой экономии – копили деньги на рояль. Мама рассказывала, что уже в старости бабушка как-то сказала: «Как приятно, когда на хлебе с маслом сверху еще что-то лежит», то есть, кусочек сыра, например, или колбаски. Долго она не могла себе этого позволить.

Надо сказать, что такая скудная жизнь не сделала бабушку скупой. Она всегда оставалась порывисто-щедрой. Однажды, придя в театр, она дала театральному гардеробщику на чай вместо положенных 10 копеек (которые тоже далеко не все давали) целый рубль. Ей жалко стало старика, которому, наверное, очень скучно целый день стоять и выдавать чужие пальто.

Я помню одну изысканную игрушку своего детства – маленький, деревянный книжный шкафчик с книжками. Книжки были совсем крошечными, в размер полок, то есть примерно 6 на 4 см, но совершенно как настоящие, написанные по старой орфографии, их можно было развернуть гармошкой и рассматривать картинки. А ларец орехового дерева и резной настенный шкафчик до сих пор сохранились у нас. Все эти вещи, совершенно нетипичные для нашего скудного быта, где не было ничего, сверх необходимого, бабушка покупала у старой дворянки Огонь-Догановской, жившей в нашем доме. Зная о бабушкиной бедности и равнодушии к вещам (во всяком случае к их эстетической стороне), я не сомневаюсь, что она совершала эти покупки

с единственной целью – поддержать старую женщину, бедствовавшую еще больше, чем она.

В детстве я никогда не думала о том, что мы бедны и вырастала в спокойном сознании того, что наша семья имеет средний достаток. То, что меня учили штопать чулки, казалось мне совершенно естественным, я не воспринимала это как признак бедности. Уже гораздо позже, когда после смерти Златочки, последней из сестер Хазиных, из нашего быта стали уходить в мусорное ведро аккуратно заштопанные штаны и чулки, обтрепанные по краям лифчики, залатанные простыни, я стала задумываться о том, с какой привычной стойкостью и легкостью, никогда не впадая в уныние, несли мои дорогие бабушки свою бедность. Впрочем, может быть, сами они и не считали себя бедными, потому что так жили тогда многие. Но так или иначе, покупка рояля в этих условиях была целью на годы. Чтобы идти к этой цели, нужна была настоящая страсть, и страсть эта шла изнутри, иначе откуда бы ей появиться в душе дочери бедного еврейского сапожника?

Рояль бабушка в конце концов купила. Я помню его – он стоял в нашей квартире на ул. Культуры, в небольшой комнате, в углу у окна и занимал почти половину этой комнаты. Позднее его заменило более компактное пианино. Оно переехало за нами в Запорожье, а потом в Ленинград. Когда мы переезжали с Гражданки на Васильевский, мама хотела его продать, но я, помня его историю, воспротивилась. Пианино

осталось. Может быть, зря, все равно на нем играть некому, а историю я помню и так.

Я не знаю, были ли у бабушки способности к музыке. Я никогда не слышала, чтобы она что-то напевала, не помню, чтобы она ходила сама или водила меня на какие-то музыкальные концерты. Она вообще редко куда-то выходила, хотя в Харькове было для этого много возможностей – и театры, и концертные залы, и дома культуры. У нее было одно «выходное» платье, однотонно-коричневое, которое она оживляла маленьким шелковым шейным платочком и единственным своим украшением – брошкой в виде маленького черного олененка. В этом наряде она сидит среди других родителей и бабушек-дедушек на фотографии праздника в моем детском саду.

Меня бабушка любила, эту любовь я чувствовала, но я не помню, чтобы она много занималась мною. Не занималась она и домашними делами. Дом вела Златочка, Рися выполняла разовые поручения, не отказываясь ни от какой работы. Например, когда появилась в семье я, водить меня в садик и на прогулки в парк стало Рисиней обязанностью.

У бабушки в домашнем разделении обязанностей какой-то постоянной роли, похоже, вообще не было. И никаких споров на этой почве никогда не возникало. Чувствовалось, что это был уклад жизни семьи, устоявшийся задолго до моего появления на свет. Мама вспоминала забавный эпизод военного времени, когда, уехав в эвакуацию в Киргизию, они

всей семьей поселились в крестьянском доме с печным отоплением. Топкой обычно занималась Златочка, но в какой-то день, видя, что Златочка очень устала и едва стоит на ногах, бабушка в порыве великодушия воскликнула: «Нет, Злата, ты не будешь сегодня топить!..» Интонация предполагала продолжение: «Это сделаю я!», но вместо этого, после небольшой паузы, бабушка тем же решительным тоном произнесла: «Рися, затопи ты!» Видимо, она была по природе своей генералом, но я застала этого генерала уже в отставке, на покое (все-таки, когда я родилась, бабушке было уже 64).

В картинках моей памяти она ничем особенно не занята – ни работой по дому, ни каким-либо женским рукоделием, как шитьем, вязанием или вышивкой. Иногда она, надев очки, читает или пишет письмо, но чаще просто сидит в кресле или ходит без видимой цели по комнате, периодически останавливаясь и подолгу глядя в окно. Говорит она немного, а когда вступает в разговор, словно выныривает в него откуда-то издалека и не полностью, но продолжая частично оставаться в своих мыслях.

О чем она думала? Мама вспоминала, как однажды, глядя на меня, она сказала: «Сколько эта девочка получает любви и заботы. Если бы Димочка в свое время получила хоть половину того тепла, которое теперь достается Машеньке». Из какой глубины размышлений выплыли на поверхность эти слова? Боль за Диму, вина перед ней, горечь за неудавшуюся собственную женскую судьбу, сожаления об ошибках, кото-

рые уже нельзя исправить?

Стать кременецкой девушки не исчезла, но съежилась, ушла глубоко внутрь и лишь иногда проглядывала в каком-то остроумном замечании (юмор бабушка всегда понимала и ценила), метком наблюдении или при встрече со старыми друзьями.

Собственно, из ее друзей я помню только одну – детскую писательницу Хану Левину. Небольшого роста, но полноватая Хана двигалась медленно и несуетно, причем не по причине веса или болезней, но потому что все делала осмысленно. Оставив в прихожей верхнюю одежду и шляпку, пригладив свои седоватые, русые, собранные в пучок волосы, Хана входила в большую комнату и направлялась к своему привычному месту, к черному кожаному креслу у окна. Так как она была довольно грузной, а кресло довольно старым, Хана сразу же утопала в нем, из-за чего подлокотники оказывались на уровне груди и, когда Хана укладывала на них руки, плечи ее так поднимались, что шея практически исчезала. Говорила Хана, как и ходила, медленно и спокойно, и так же, не меняя ни темпа речи, ни невозмутимого выражения лица, умно шутила. Иногда, не прерывая разговора, Хана так же неторопливо щелкала замочком маленькой сумочки, доставала очки и вчетверо сложенную газетную вырезку, приготовленную для показа бабушке, и зачитывала из нее заранее подчеркнутые строки.

Бабушка, помолодевшая и даже какая-то постройневшая

с приходом Ханы, садилась напротив нее на стул, положив руку на круглый обеденный стол, слушала подругу, смеялась ее шуткам и острела сама. Бабушкина радость заражала меня, я очень любила, когда к нам приходила Хана. Она могла задавать мне самые обыкновенные вопросы, но при этом не меняла своего серьезного тона на какой-то особый, «детский» и смотрела так внимательно и спокойно, что не возникало сомнений – она меня видит, слышит и воспринимает то, что я говорю.

Содержания их с бабушкой разговоров я вспомнить не могу, хоть они происходили при мне, но помню ощущение какой-то насмешливой легкости, которое от них исходило. Я всегда помнила о том, что Хана – подруга бабушкиной **молодости**, и от их отношений веяло духом трудовой, безгрешной бедности и задора двадцатых годов.

Так что, нет, не исчезла совсем девушка с кременецкой фотографии, но рядом с ней выросла новая часть – умудренная жизнью, наблюдающая, вопрошающая, призывающая понимать людей и быть к ним снисходительной. Может быть, это и имела в виду мама, когда говорила, что к старости бабушка стала мягче. Но, добавлю, и печальнее. Мама помнила ее другой. Поэтому теперь слово ей, это отрывок из ее воспоминаний, написанных в 1996 году для классного сборника «По старым адресам».

«Барачный переулок 8, кв. 62; Переулок Покровского 8, кв. 62; ул. Культуры 16, кв. 12. Нет, мы не переезжали.

Это адрес менялся. Он рос, мужал, а мы оставались там же. И тот же был дом, и квартира та же. И сколько бы я ни меняла городов, квартир, комнат, углов (даже в театре жила однажды полгода) – единственный мой родной дом был по этому кудрявому, с тройным подбородком адресу: Барачно-Покровская улица Культуры. Кстати, бараки не придуманы. Это – реальность, мы их застали.

А еще было открытое окно, и в него рекой лился запах черемухи, а навстречу – музыка. Это я играю, готовлюсь к экзаменам. Знаю, что мама слушает в своей комнате. Я вспоминаю ее рассказы о Кременце, городке ее юности: как она девочкой, бывало, стояла под окнами и слушала музыку, как мечтала научиться играть. И вот я учусь, а она слушает. И влюбляется в каждую новую вещь, которую я учу: «Сентиментальный вальс», «Лунная соната», «Ноктюрн» Шопена.

Мама умеет извлекать радость из глубины жизни / выделено мной/. Она жизнелюбивый человек. Мне кажется, судьба обделила ее, и я ее жалею. В моей любви к ней большая доля жалости. Но, наверное, человек сам лучше знает, счастлив ли он, и в моей памяти она осталась веселой, счастливой, смеющейся. Но не могу забыть, как она однажды вышла весной на балкон (это было в Запорожье), посмотрела на зеленые клейкие листочки и заплакала. Это было незадолго до ее смерти».

Мамина школьная жизнь

В старой школе мама подружилась с Нэллой Рубинштейн,

которая к великому ее горю погибла в войну. Очерк, который мама написала в первый школьный сборник, был посвящен целиком Нэлле.

«Я познакомилась с Нэллой раньше, чем она попала в наш класс. Это было в детском санатории в Евпатории».



Дима Хазина (слева) и Нэлла Рубинштейн, Евпатория, 1935 (девочкам 10 лет)

«Случилось так, что я очутилась там в изоляции. Меня невзлюбили за что-то. Был, по-видимому, какой-то промах с моей стороны. А потом все нарастало, как снежный ком. Чувствуя себя окруженной неприязнью, я вела себя так, будто в самом деле была в чем-то виновата и тем подтверждала правоту ненависти окружающих. И ненависть нарастала, а с ней нарастало мое отчаянье. Я чувствовала себя скованной по рукам и ногам этой ненавистью, готова была забиться в угол, но и в самом дальней углу она на-

стигала меня. Не знаю, чем бы кончилось все это, если бы ко мне не подошла Нэлла. Она подошла ко мне, как к старой знакомой, и хотя я точно помнила, что никогда ее раньше не видела, я невольно подхватила ее тон старого знакомства. Тем, что она подошла, она как-то зачеркнула то, что было до этого, и оно исчезло вдруг и навсегда. Что-то она спросила, что-то мы рассказали друг другу... и стремительно подружились. А ненависть, не имея пищи, ушла куда-то.

В общем, Нэлла фактически спасла меня. Но сделала она это так, что я не почувствовала ни малейшей благодарности. Толкнуло ее ко мне бесспорно – желание помочь, вытащить меня из этой ямы, из которой мне одной было не выкарабкаться. Но она, по-видимому, искренне забыла об этой главной причине. Поэтому я не почувствовала этого, а увидела просто девочку, которая говорит: «Давай дружить!», и дружба завязалась быстро и легко, не отягченная благодарностью. Как-то удивительно она это умела. Так просто, естественно. Очевидно, это было не умение, не такт, а в этом просто была ее жизнь. Она принимала людей такими, какие они есть. Их недостатки не смущали ее, не мешали ей любить их. Только к себе она была необычайно строга.

Мы с ней тогда расстались в Евпатории, а 1 сентября, придя в школу в свой класс, я вдруг увидела ее. Мы бросились друг к другу и сразу сели за одну парту. С тех пор все у нас стало общее. Мы ходили на галерку в Русскую дра-

му смотреть «Три сестры»: Машу – Тамарову, Чебутыкина – Крамова. Ничего лучшего быть не могло! Мы бежали на 2 этаж в учительскую, чтобы посмотреть на Рахиль Лазаревну. И любовь наша к ней усиливалась, наверное, тем, что была общая. Иногда наши вкусы резко расходились, возникали жаркие споры, но все равно, это было наше.

Мы постигали жизнь, ее «страшные» тайны.

Однажды Нэлла пришла и сказала: «Ты знаешь, вот то, что мальчишки говорят глупости, так это на самом деле так и есть». Известие было страшное, оно требовало времени и больших душевных сил на его осознание. Мы поклялись друг другу, что такого позора с нами не произойдет. И вдруг в один прекрасный день Нэлла приносит новое известие: «Говорят, что если лежишь на одной кровати с мужчиной, то начинает притягивать к нему и сопротивляться невозможно». «Так что же делать?», – спрашиваю я в отчаянье. «Не ложиться в одну кровать с мужчиной» – решительно и непримиримо отвечает она».

Может быть, разделение на «старую» и «новую» школу мама и ее одноклассники ощущали так ярко еще и потому, что переезд школы в новое здание совпал с окончанием начальной школы. Первую учительницу Асю Самойловну сменили учителя-предметники. Осенью 1936 года в пятый «Б» пришла преподавать русский язык и литературу легендарная Рахиль Лазаревна.

Мама вспоминает:

«...одним из первых домашних заданий было: выписать метафоры и сравнения из повести Горького „Детство“. Я, помнится, сидела допоздна и принесла в своем портфельчике богатый урожай – 104 метафоры и сравнения. Конечно, не нужно было так много, но мне захотелось удивить Рахиль Лазаревну».

Не только мама, все бэшники пишут о Рахиль Лазаревне в превосходных степенях: «скульптор наших душ и жизненных позиций», «имя ее для нас свято» (*Юра Тесленко*), «прекрасное видение прошедших лет», «образ женщины, наделенной совершенной библейской красотой и библейским именем Рахиль...». «Ее уроки были соединением мастерства и вдохновения, мы шли на них как на праздник». (*Валера Дамье, Леня Шор*).

Но Рахиль Лазаревна не только преподавала русский и литературу, она стала у «Бэшников» еще и классным руководителем.

«С приходом Р.Л. началась бурная общественно-литературно-театральная деятельность». Начала выходить классная газета «Вперед» с литературным приложением. Заработал драмкружок, где первым спектаклем стала «Сказка о мертвой царевне». Юра Тесленко вспоминает: «кульминационным моментом были: появление на сцене Лени Шора в роли Месяца и в костюме, напоминающем одежды средневекового алхимика, а также сцена, в которой король Елисей (в моем исполнении) бросался на гроб „царевны

милой“ (Валя Кругляк), что сопровождалось звоном стекла, усердно разбиваемого за сценой директором П. В. Туторским»

Устраивались музыкальные вечера, в которых «участвовали лучшие оперные артисты во главе с народными артистами Паторжинским и Литвиненко-Вольгемут – родителями нашей одноклассницы Нины Паторжинской. Переезд столицы в Киев прервал наше приобщение к мировой музыкальной культуре, мы лишились наших шефов и хорошей девочки Нины П.» (Валерий Дамье и Леня Шор)

«Это не школа, а дворец», – сказала родителям Нина Болотина, когда в 6 классе пришла в 36 школу, а Юра Тесленко в своих воспоминаниях написал: «Для меня школа, без преувеличения, стала вторым и, наверное, основным домом». Думаю, под этими словами вполне могла бы подписаться и мама. Слова: «Я очень люблю школу», сказанные ею, первоклашкой, в разговоре с Рахиль Лазаревной, оставались для нее правдой всю жизнь. Хотя и на этот «дворец» набрасывало время свою тень.

Эр зицт

Если первыми словами, которые Дима научилась говорить на русском языке были «низзя», «Дима» и «какао», то первыми словами, которым она научилась на идише были «эр зицт» («он сидит»). Когда нужно было сказать что-то, не предназначавшееся для ушей ребенка, бабушка и ее сест-

ры переходили на язык своего детства. Диму это ужасно сердило, она топала ногами, иногда плакала и требовала говорить по-русски. Страстное желание понять то, что от нее скрывали, обостряло сообразительность, которой она и так не была обделена. И вот уже, увидев напряженные, помрачневшие лица, уловив обмен многозначительными взглядами, она уже сама, вторя мимикой и интонацией взрослой скорби, спрашивала: «*Эр зичт?*», поначалу понимая лишь, что случилось что-то плохое, тревожное и страшное. Никто так и не перевел ей эти слова, но жизнь складывалась так, что долго оставаться в неведении относительно их значения было просто невозможно. Один за другим исчезали люди, не какие-то далекие, маячившие в высоких облаках власти, а те, что были рядом.

Посадили «без права переписки» (позже стало известно, что это синоним расстрела) жившего в нашем дворе заместителя генерального прокурора Украины Семена Александровича Пригова. Его жена, Евгения Николаевна Трояновская, была бабушкиной подругой, их дочери родились в один год, и бабушка, у которой было много молока, выкармливала вместе с Димой Мирочку Пригову. Евгения Николаевна пошла по этапу вскоре после ареста мужа, а дети, Мира и Володя были отправлены в детский дом.

Этой участи счастливо избежал одноклассник Димы Лен Рогозин, который был племянником Семена Александровича, сыном его сестры Бэллы Александровны. Отец Лена, сту-

дент Екатеринославского университета, в 1916 году вступивший в кружок РСДРП, воевавший затем в Красной гвардии, а после войны ставший крупным хозяйственником, дал своему сыну имя Поволен («Победа вооруженного ленинизма»). Энергичный и преданный боец революции, он был арестован в июле 1937 года и, как выяснилось позже, расстрелян в декабре того же года. Мать, Изабеллу Александровну, взяли позже, в ноябре 1937 года и не дома, благодаря чему, Лен, как он говорил «выпал из поля зрения бандитов». 13-летнего подростка взяла к себе тетя, сестра матери Мария Александровна Пригова. Лен казался старше своих сверстников, не только потому что был в основном предоставлен сам себе (тетя Маня была с утра до вечера на работе), но и потому, что знал что-то такое, о чем его одноклассники могли только догадываться. Он написал об этом в школьный сборник «По старым адресам» (с. 51):

«...Я носил передачи в тюрьму на Холодной горе, хотя отец, пока был жив, содержался во внутренней тюрьме НКВД в центре города. О ее существовании горожане тогда не знали. Передачи у меня принимали раз или два в месяц, даже когда отца уже не было в живых, а мать увезли оттуда, куда адресовались мои посылки. Для того, чтобы приняли передачу, нужно было выстоять тысячную очередь. А заниматься ей приходилось ночью. По всему громадному городу в темноте двигались люди – такие же, как я, „очередники“. Но еще больше, чем „очередников“ было арестованных. Види-

мо, не хватало транспорта, и несчастных ночью вели два-три конвойных под дулом нагана».

Родители другого Диминого одноклассника Володи Идина, были арестованы тоже в 1937 году. Семья Володи в то время жила в Киеве и после ареста родителей его отправили в детский дом в Тамбов, где его разыскал дядя, брат отца. Дядина жена возражала против приезда Володи, дядя развелся с ней и в декабре 1937 года привез племянника к себе в Харьков. Володя начал учиться в 6-Б классе 36 школы в 1938, после зимних каникул.

«Я был подавлен случившимся, ощущал свою неполноценность и оттого был замкнутым. Позднее Лен Rogozin подошел ко мне и сказал: „Так мы, оказывается, птенчики из одного гнездышка“. Я сразу понял, что он имел в виду, обрадовался, что я не одинок и очень привязался к нему. Мы стали близкими друзьями, и я благодарен судьбе и Лену за эту дружбу».

Конечно, мама знала о судьбе родителей Володи и Лена и еще одной одноклассницы Майи Бродской, но вряд ли была посвящена в подробности – дети репрессированных родителей быстро научились конспирации и откровенны были только друг с другом.

Не знала мама и об отчаянном поступке Нины Болотиной, который Нина описала в своих воспоминаниях. Конечно, тогда и сама Нина, 13-летняя школьница, не представляла себе, каким чудом было то, что она осталась на свобо-

де. А случилось вот что. Осенью 1936 года арестовали сослуживца отца Нины майора Даньшина, с дочерью которого Тamarой Нина была близко дружна. Некоторое время спустя исчезла и жена Даньшина с дочерьми.

«Расстроенная и возмущенная, жаждущая восстановить справедливость, я, ничего не сказав своим родителям, однажды утром отправилась в тот самый серый дом, где размещалось наше Харьковское НКВД. В каком-то темном коридоре сидели угрюмые люди, в основном женщины, ожидая своей очереди на прием к какому-то начальнику. Я не стала ждать, а стремительно ворвалась в комнату, которая оказалась не кабинетом, а приемной. В роли секретаря был какой-то человек в форме. Думаю, он был потрясен моим безудержным напором, так как, когда из кабинета вышел очередной посетитель, впустил меня туда даже без доклада. Кабинет, куда я попала, запомнился мне на всю жизнь: большая, мрачная комната с задернутыми шторами и горячей настольной лампой, что меня особенно поразило, так как на улице был яркий, солнечный зимний день. В глубине комнаты, за огромным столом, заваленным какими-то папками с бумагами, сидел седой и смертельно усталый человек. Даже меня, девчонку, поразило его землисто-серое лицо. Он разговаривал со мной очень уважительно и дружески, особенно когда узнал, что я пришла к нему по собственной инициативе и без ведома родителей (этот вопрос его почему-то особенно интересовал). Ни моей фами-

лиш, ни адреса он у меня не спросил. Узнав, в чем дело, он нажал на кнопку и попросил вошедшего секретаря что-то ему принести. Буквально через минуту ему принесли толстую книгу с алфавитом, он открыл ее на букве „Д“ и сообщил мне, что дочери майора Данышина отправлены в детский дом в Днепропетровске. Адрес этого детского дома был ему неизвестен. Я очень горячо и страстно стала объяснять ему мои соображения о полной и абсолютной невинности Данышина. Внимательно выслушав меня, человек за столом как-то тяжело вздохнул и начал успокаивать меня, обещая, что во всем разберется и справедливость будет восстановлена. Я ушла от него, довольная выполненным долгом, но почему-то слабо уверенная в том, что справедливость действительно восторжествует... Через какое-то время стало известно (по слухам, конечно), что Данышина расстреляли. Кто-то сообщил мне адрес детского дома, помнится, я писала туда, но ответа не получила. О своем походе в НКВД я никогда никому не рассказывала» («По старым адресам», с.34).

Да, в то время и у детей были такие тайны, о которых они не говорили никому или только самым-самым близким. Такой самой близкой была для мамы Нэлла Рубинштейн. Вот строки из маминых воспоминаний о Нэлле:

«В 1937 году у Нэллы арестовали отца. Она очень переживала этот арест, потому что любила и жалела отца. Через год или два отец вернулся. По-видимому, он попал

в число тех счастливиц, которых выпустили, когда пришел к власти Берия. Они жили в то время в одной маленькой комнатке (их уплотнили после ареста отца), и отец, думая, что Нэлла спит, рассказывал матери, как его били, и как следователь сказал: „Я из тебя мешок костей сделаю!“. Нэлла не спала. На другой день она рассказала обо всем мне (кажется, больше никому). И мы с ней бросились искать место, где можно было бы поговорить об этом. Мы выбрали площадь Дзержинского, там мы чувствовали себя защищенными огромным, хорошо просматриваемым пространством. Мы ходили по этой необъятной черной площади много дней, вернее вечеров, не в силах закончить этот разговор, не в силах смириться с тем, что узнали. Я много думала о том, как тяжело было Нэлле услышать этот, не предназначавшийся ей рассказ» («Только для друзей», с. 47).

Мама всегда скептически относилась к словам людей, которые утверждали, что узнали о репрессиях только из доклада Хрущева на XX съезде партии и говорила, что если она, в свои 13 лет, уже прекрасно понимала, что творится в стране, то как могли не знать этого взрослые, зрелые люди. Наверное, она права, но я все же думаю, что большую роль в ее прозрении сыграла среда, в которой она росла – семья, друзья-одноклассники, Рахиль Лазаревна.

«Мы были учениками Рахиль Лазаревны в жестокий век, лозунгами которого были: „Кто не с нами, тот против нас“;

„Если враг не сдается, его уничтожают“, а героями – Павлики Морозовы. В нашем классе было немало учеников, чьи родители были объявлены „врагами народа“ и уничтожены в сталинской мясорубке. Таким страшным образом сама судьба дала Р.Л. возможность, проявив высокое мужество, показать нам пример человеколюбия по отношению к тем ученикам, родители которых стали жертвами репрессий» (Валера Дамье, Леня Шор «Только для друзей»).

Конечно, Рахиль Лазаревна ничего не могла сказать ученикам прямо, но дети этих страшных лет быстро научались считывать все, что нужно из интонаций, жестов, выражения лица и поступков.

Прямо же говорить о терроре позволяли себе немногие, даже в семье, но такие были, например, семья маминой одноклассницы Вали Кругляк. Вот что пишет она в своих воспоминаниях:

«Мне на судьбу грех жаловаться – родители мои не были репрессированы, их не терзали, не пытали, не убивали. Я не познала детских домов для детей «врагов народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями, но у нас в семье знали все, что происходило в стране, люто ненавидели бандитскую клику, так страшно истреблявшую миллионы неповинных людей, проклинали усатое чудовище, этого выродка рода человеческого. «Счастливое» детство! Что скажут о нем Майя Бродская, Володя Идин, Лен Рогозин, мои подруги по дому Рада Варшавская, Инна Селезнева? Они ку-

да-то исчезли после ареста родителей. Мой папа был адвокатом, допущенным к «спец. делам», но его, как и других «допущенных», никуда не допускали. Суд был скорый, «революционный», не допускавший ни защиты, ни обжалования. Но слухи просачивались сквозь любые плотины страха. Так папа узнал о судьбе мужа своей сестры, талантливого инженера, молодого красавца дяди Коли, которого я обожала. Его истязали, вырвали ногти, сапогами размозжили половые органы – он умер во время пыток. В нашей семье готовились ко всему, исходя из того, что «сегодня ты, а завтра – я». Чемоданчики с теплой одеждой стояли в спальне наготове. Я смотрела на них с ужасом и думала: «Чем я лучше Рады или Майи?» (Валя Кругляк «По старым адресам»).

Нина Болотина вспоминает, как вскакивали по ночам ее родители от любого случайного шороха или стука.

Свой «чемоданчик» реальный или символический был наверняка и у бабушки. Представитель гнилой интеллигенции, брат в Америке, две сестры в Палестине, третья только недавно вернулась из буржуазной Германии... Есть чего опасаться. Бедность и скромный социальный статус спасли бабушку от наветов завистников, завидовать там было абсолютно нечему, но не всегда ведь брали по навету, могли взять и просто так, потому что запущенная машина требовала новых жизней. Не арестовали бабушку так же случайно, как случайно арестовали отца маминой дворовой подруги Ирочки Розенблум, абсолютно далекого от политики литературо-

веда-пушкиниста, поглощенного изучением 19 века.

С дочерью своими опасениями бабушка не делилась и политических вопросов не обсуждала, но и не произносила в объяснение происходившему кошмару нелепых сказок типа: «Нет дыма без огня» или «Лес рубят, щепки летят» или чего-нибудь еще в том же духе.

Прямо и жестко, называя вещи своими именами, с мамой поговорил ее отец. Это было летом 1940 года. В этот учебный год Диме исполнилось 15 лет, и она вступила в комсомол. Отец был очень недоволен этим. Писать сразу о своей реакции он не стал, но когда летом он повез обоим своим детям, маму и Игоря, на юг, высказал ей свою точку зрения и на эту организацию, и вообще на политическую ситуацию в стране открытым текстом.

(окончание следует)

Любовь Гиль

**200-летняя история моих
предков и породнившихся
с ними семей (документы,**

письма, воспоминания родных)

**Боград, Блох, Фельдман, Куперман,
Абрамские, Зайцевы, Шаргородские,
Уманские, Стрельцис, Баскины, Позины,
Вайнцвайг, Темкины, Гершкович,
Каневские, Либерман, Сорокины**

(Окончание. Начало в №4/2015 и сл.)

Глава XIII

Зайцевы/Зайцовы

Ранее мне была известна лишь фамилия моей прабабушки — Зайцева, но её имя и отчество оставалось загадкой, казалось, неразрешимой.

В главе VI (Абрамские) я писала: «4 колено — Гершон-Аншель Нухимович Абрамский, 1837—38 г.р. — прадед, Ф.И.О. и даты жизни прабабушки неизвестны».

И вот, наконец-то, удалось установить ее имя, отчество,

дату и место рождения: Ита Абрамовна-Гершевна Зайцева, родилась в Херсоне в 1839 г. Также установлены имена ее родителей, деда и бабушки. Она была женой моего прадеда Гершона-Аншеля Нухимовича (Григория Наумовича) Абрамского, родившегося в м. Мосты Гродненской губернии в 1838 г.

Он записан в ревизских сказках 1858 г., где указано что, ему было тогда 20 лет. Когда он появился в Каховке, мне не было известно. И до сих пор я этого точно не знаю, хотя сведения о нем прослеживаются в 1875—76 в Мелитополе, там родилась одна из его дочерей. Где же родились остальные дети, точно неизвестно. Моя бабушка (мать моего отца) Нехама Гершон-Аншелевна (Надежда Григорьевна) Абрамская (в замужестве Шаргородская), (1877—1968) до 1904 г. жила с родителями в Каховке. Мы, её потомки, всегда считали, что она там и родилась, однако сейчас не исключено, что это могло произойти в Мелитополе. К сожалению, архивные документы этих мест за исследуемый период не сохранились. Хочу рассказать, как же удалось найти сведения о прабабушке и многочисленном семействе Зайцевых. Недавно на портале «Еврейские корни» Виктор Нафтулович Кумок открыл тему «КАХОВКА» [22]. В этой теме он поместил списки раввинов, старост, казначеев и «ученых» Каховской синагоги в соответствии с хронологией. В этом списке имеется запись о старосте Каховской синагоги Гершоне-Аншеле Нухимовиче Абрамском — моем прадеде:

«Каховской синагоги Нухимов Гершон Аншель, Абрамский („Таврические губернские ведомости“ №35 5.09.1896)»

Об этой находке Виктор Нафтулович сообщил мне давно, что позволило узнать не только еврейское имя и отчество прадеда, а в дальнейшем с помощью сайта JewishGen найти имена его предков: родителей, деда и прадеда, а также получить дополнительную информацию о его родных. Это описано в части 2 главе VI «Абрамские» [2].

На этот раз мне очень повезло, в этом же списке встрети­лась и фамилия Зайцев: «Утверждены староста, казначей и „учёный“ для Каховской синагоги: Гесель Зайцев, Мону­с Гутович Гесин, Хаим Шаев Хаймович (он же раввин), (Хаим Хаимович был раввином синагоги в Перекопе, осуществлял свою миссию также в Армянском Базаре, Каховке и др. местах Таврической губернии — Л.Г.) („Таврические губернские ведомости“ №45 14.11.1891)»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.